

Борис
Кагарлицкий



ПОЛИТОЛОГИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Главное историческое достижение капитализма, видимо, и состоит
в том, что благодаря ему появляется на свет революционная
антикапиталистическая альтернатива.

Борис Юльевич Кагарлицкий

Политология революции

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2828215
Политология революции: Алгоритм; М.: 2007
ISBN 978-5-9265-0401-6

Аннотация

В 1990-е годы, когда история многим казалась закончившейся, понятие «революция» почти полностью вышло из употребления интеллектуалов и политиков, используя разве что применительно к событиям прошлого. Радикальное преобразование общества представлялось чем-то невероятным и невообразимым.

Между тем, жизнь отнюдь не стояла на месте, а общество менялось. И с точки зрения миллионов людей менялось далеко не к лучшему. Главное историческое достижение капитализма, видимо, и состоит в том, что благодаря ему появляется на свет революционная антикапиталистическая альтернатива.

Обо всем этом можно прочесть в книге известного политолога и общественного деятеля левого толка Бориса Кагарлицкого.

Содержание

От автора	4
Введение	6
Глава I	10
Власть и рынок	12
Новое и забытое старое	15
Проект гегемонии	18
Конец свободы	23
Обманутые надежды	26
Латинская Америка – заповедник неолиберализма	29
Российская лаборатория	34
Финансовый капитал	37
Глава II	40
Наемный труд	41
Технологическая аристократия	43
«Синие воротнички»	46
«Белые воротнички»	48
Возвращение профсоюзов	51
Миграция	54
Европогром	57
1968 год – наоборот	61
Новая эпоха	63
Глава III	64
Ревизионизм	65
Марксизм и рабочий класс	69
Культура как «единственная альтернатива»	71
Радикализм без цели	73
Постмодернизм и левые	78
Феминизм и постмодернизм	82
Новые социальные движения	85
Самоутверждение и солидарность	87
«Автономный марксизм»	91
Реальный мир и идеология «Империи»	94
Конец ознакомительного фрагмента.	97

Борис Кагарлицкий

Политология революции

От автора

Любая книга имеет свою историю. Ее текст складывался в несколько этапов, на протяжении довольно долгого времени. Работа над этой книгой началась в самый разгар неолиберальной реакции 1990-х годов. Левое движение в Европе, да и во всем мире переживало тогда, пожалуй, самый глубокий кризис за всю свою историю.

Это было лето 1995 года. В Восточной Европе бушевала приватизация, «прогрессивные режимы» в странах «третьего мира» наперебой зазывали к себе советников из Международного валютного Фонда, в Южной Африке, где власть взял Африканский национальный конгресс вместе с профсоюзами и компартией, демократические перемены обернулись ростом безработицы и снижением жизненного уровня для черного большинства. Социал-демократы окончательно забыли слово «социализм». Еще никто не слышал про «антиглобализм». За пределами Венесуэлы еще никто не знал имени Уго Чавеса, а выживание сапатистского восстания в Мексике было под большим вопросом.

Именно в это удивительное время Левая партия Швеции собрала в маленьком летнем пансионате небольшое число людей, которых они, видимо, записали в некий негласный список «мудрецов». Попасть в подобный список вместе с Самиром Амином, Фредериком Джеймсоном и другими не менее авторитетными авторами было, разумеется, лестно, но, как говорится, положение обязывает. Несколько дней, отрезанные от цивилизации в сельской глуши Швеции, которая, как ни странно, не так уж сильно отличается от российской, мы должны были обсуждать будущее международных левых сил.

Любопытно, что позже я обнаружил аналог подобной дискуссии в вымышленном экспертном сообществе, описанном у Сьюзан Джордж в книге «Доклад Лугано». Разница состояла лишь в том, что героями книги были защитники капитализма, предлагавшие рецепты сохранения системы, а мы думали о том, как с ней бороться.

Было, впрочем, еще одно различие: от нас не требовали никакого итогового документа. Да мы и не пришли к единому мнению. И все же эта дискуссия побудила меня сесть за письменный стол и начать собственную работу. Во-первых, надо было обобщить то, что я узнал и понял за время участия в левом движении – не только отечественном, но и международном. А во-вторых, сформулировать основные политические выводы, необходимые для дальнейшей деятельности.

Первым итогом такой работы стала трилогия «Recasting Marxism», вышедшая в Лондоне. Издало ее «Pluto Press» в 1998—1999 годах. Поскольку в мало-мальски законченном виде текст существовал только на английском, в 2001 году я кое-как сделал выжимку из всех трех книг и опубликовал ее на родном языке в Москве в издательстве «Логос» под заголовком «Глобализация и левые». Честно говоря, ни я сам, ни читатели не были особенно довольны результатом. Книжечка получилась слишком короткая и довольно сумбурная. Прочитал ее мало кто – тираж был ничтожный.

Да и время шло. Многие темы я сейчас уже вижу не так, как в конце 1990-х годов. С тех пор накоплено немало нового опыта. Левое движение вновь на подъеме, причем не только в западных странах: есть чему радоваться и в своем Отечестве. Естественно, эти новые успехи сопряжены и с новыми проблемами, с новыми разочарованиями.

Обо всем этом надо было писать и думать. Разумеется, эта книга отнюдь не является типичным плодом академической работы в библиотеках и архивах. Она была бы невозможна

без постоянного общения с лидерами и активистами левых движений по всему миру – от Швеции до Южной Африки и от Филиппин до Бразилии. Можно сказать, что сама она, равно как и сознание ее автора, в некотором смысле, являются продуктами глобализации. На таком фоне положение дел с левым движением в России вряд ли можно было считать особенно впечатляющим (что и предопределило приоритет именно «западного» материала в данной работе). Между тем с 1999—2000 годов ситуация начала заметно меняться. Важным симптомом этих перемен является появление нового поколения радикальных социалистических активистов в России. Люди, издающие социалистическую прессу или организующие протесты против вступления нашей страны во всемирную торговую организацию, доказывают своей ежедневной деятельностью, что левые идеи у нас в стране перестают быть достоянием академических интеллектуалов и политических сектантов. К середине 2000-х годов будущее Российского левого движения стало модной темой на заседаниях элитных экспертных сообществ, неизменно начинающихся с жалобы на то, что «молодежь левеет» и «марксистские идеи снова в моде».

Получившийся в итоге текст есть плод двенадцати лет работы – с 1995 по 2007 год. Когда я говорю о «работе», имеется в виду, разумеется, не только сидение в кабинете. Это плод не столько размышлений, сколько деятельности. Моей собственной и многих других людей, вместе с которыми я переживал спады и подъемы движения. Политическая практика просто не может быть индивидуальной. Потому и получившаяся в итоге новая версия книги появляется на свет в результате многочисленных споров, дискуссий и совместного опыта, общего для большого числа людей. Чтобы назвать их всех, не хватило бы места в этом предисловии. Но я не могу не упомянуть хотя бы несколько имен. В первую очередь, моих скандинавских товарищей арена Этцлера, Аудина Лисбаккена, Магнуса Марсдала, али Эсбати, Стефана Линдгрена и Стефана Сьеберга, совместная работа с которыми сыграла значительную роль при подготовке этого текста. Не могу не поблагодарить и бывшего секретаря «Socialist Scholars Conference» в Нью-Йорке Эрика Канепа, человека, который не только великолепно поддерживает международное общение левых, но и делает его удивительно приятным. Михаэль (Миша) Бри и Хельмут Эттингер из Партии демократического социализма Германии на протяжении всех этих лет не только помогали мне собирать материалы о немецких левых, но и добросовестно терпели мою критику собственной партии. Непременно должны быть названы Джон Рис и Алекс Каллиникос, а также все мои коллеги по транснациональному институту в Амстердаме и Институту глобализации в Москве.

Всем им и многим другим я, конечно, очень благодарен. Но главное – глубоко убежден, что самый интересный совместный опыт еще впереди. Как говорил Ленин, «приятнее и полезнее «опыт революции» продельывать, чем о нем писать».¹

¹ Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 33. С. 120.

Введение

В 1990-е годы, когда история многим казалась закончившейся, понятие «революция» почти полностью вышло из употребления интеллектуалов и политиков, используя разве что применительно к событиям прошлого. Радикальное преобразование общества представлялось чем-то невероятным и невообразимым.

Странным образом, это глубокое убеждение овладело людьми, только что пережившими весьма масштабные перемены. Ведь крушение советского блока и окончание «холодной войны» сопровождались социальными катаклизмами, которые выпадают на долю не каждому поколению.

Однако произошедшее в Восточной Европе относилось, по мнению официальных мудрецов, к прошлому, которое раз закончившись, уже никогда не вернется и не повторится. Мир обрел некое идеальное состояние, которое характеризовалось сначала словосочетанием «свободный рынок», а потом и новым красивым термином «глобализация».

Между тем, жизнь отнюдь не стояла на месте, а общество менялось. И с точки зрения миллионов людей менялось далеко не к лучшему. Происходил демонтаж структур «социального государства», которые сложились в западном обществе на протяжении 40—60-х годов XX века под влиянием политической борьбы левых партий и рабочего движения. Конфликты «холодной войны» заменила «война с терроризмом», провозглашенная администрацией Соединенных Штатов. Европейские страны заполнили миллионы мигрантов, а расизм, считавшийся, наряду с антисемитизмом, пережитком прошлого, сделался почти респектабелен.

Начиная с публикации работ Самюэла Хантингтона о «конflikте цивилизаций», получили распространение теории о неизбежности «культурных» и «геополитических» конфликтов². Эти взгляды быстро распространились в отечественной литературе, где нашли благодатную почву среди бывших профессоров марксизма-ленинизма, жадно искавших новой идеологической опоры. В рамках подобного подхода конфликты, порожденные капиталистической глобализацией, воспринимаются как исключительно «внешнее» противостояние между странами и культурами, точнее – между Западом, христианским миром, «атлантической цивилизацией» и Востоком, Югом, мусульманским миром.

Анализ противостояния труда и капитала заменяется мифом об «извечном» конфликте Запада и Востока, что, разумеется, абсурдно с исторической точки зрения – антикапиталистические, антибуржуазные движения и идеологии родились именно на Западе, и лишь потом, по мере развития капитализма за пределами Европы, были импортированы на Восток. Такая «культурная» интерпретация капитализма очень удобна для его сторонников, поскольку автоматически снимает вопрос о внутренних противоречиях системы. Но в конце 1990-х годов господство подобных идей было столь полным, что они принимались даже частью критиков либерального порядка. Признавая, что «в плане научно-техническом и экономическом иной альтернативы этому миру нет», наши герои затем угрюмо сетовали на то, что глобализация «это стандартизация мира, утрата им своего многообразия и многоцветия». А это, в свою очередь означает деградацию культуры, в том числе и западной, ибо «принципом культуры является не однообразие, а многообразие».³

Надо сказать, что в этом вопросе сторонники либеральных теорий как раз готовы идти на уступки. Культурное оформление господствующего проекта допускает небольшую дозу плюрализма. Можно даже признать «возможности исторического культурного и цивили-

² Huntington S. The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order N.-Y., 1996.

³ Россия в глобальном мире. Под ред. В.И. Толстых. М., 1997. С. 84.

лизационного компромисса, культурной множественности, концептуальной корректировки методов и теорий экономической либерализации и движения к политической демократии» При этом, однако, границы компромисса заранее обозначены, ибо «преимущества открытой экономики не подлежат сомнению».⁴

Идеология торжествующего капитала стала общим местом массовой прессы и, в известном смысле, массового сознания в Америке и большинстве европейских стран, не, исключая и Россию. Воззрения, распространяемые популярными изданиями, по-своему, даже более показательны и значимы, нежели построения идеологов. С одной стороны, требования глобализации определяются как объективная необходимость и чисто техническая задача. «Глобализация мировой экономики неизбежно ведет к нивелированию различий в экономических системах разных стран, — читаем мы на страницах деловой прессы, — и задача международных организаций — оказывать помощь развивающимся странам в движении к открытой экономике»⁵. Эту задачу должны были решать всемирная торговая организация, Международный Валютный Фонд и Мировой Банк.

Энтузиазм проповедников буржуазного рая не знал границ. «Философские основания западной, или либеральной, модели — индивидуализм и прагматизм. Фундаментальное превосходство Запада, построенного на этих принципах, над общинным и иррациональным Востоком в итоге должно привести к установлению демократии и свободного рынка во всем мире и концу истории как борьбы идей, — такова логика глобальной либерализации». Сопротивление «иррационального Востока» обречено. «в новом мире, где расстояния исчезают и время обмена информацией сокращается до секунд, культурная традиция перестает играть определяющую роль в экономике. Можно, применяя универсальную методику реформирования, построить единую планетарную экономическую систему, основанную на принципах свободного рынка и, возможно, политической демократии».⁶

Показательно, что, если «свободный рынок» определяется здесь как абсолютная необходимость и сверхценная идея, то демократия — не более как «возможность». Забегая вперед, отметим, что применение «универсальной методики реформирования» привело не к нивелировке различий и сближению стран по культуре и уровню социально-экономического развития, а как раз наоборот, к росту различий, поскольку последствия применения одних и тех же «универсальных» методов оказались совершенно разными в разных ситуациях (одни страны модернизировались и увеличивали производство, пусть и ценой возрастающего социального неравенства, другие, напротив, технологически деградировали и т. д.). Парадоксальным образом и культурные конфликты по мере развития «глобальной интеграции» лишь нарастали. Что гораздо важнее, применение либеральных методов означало резкий рост социальных конфликтов и противоречий в самих западных странах — даже в тех случаях, где имел место реальный экономический рост.

Чем более торжествовал либеральный буржуазный проект, чем более успешно преодолевал он на своем пути препятствия, оставшиеся от времен «холодной войны», тем больше вызывал отвращение у миллионов людей, оказавшихся в роли жертв капиталистического эксперимента. В 1999—2001 годах на политической сцене появились и радикальные движения, бросившие вызов этому порядку вещей и добившиеся первых успехов.

Растерянная буржуазная пресса обозвала этих молодых людей «антиглобалистами».

Эти успехи новой массовой оппозиции находились в вопиющем контрасте с безволием и деморализацией традиционной левой. Протесты 1999—2001 годов заставляют нас в очередной раз переосмыслить содержание понятия «левые». Некоторым наблюдателям массо-

⁴ ИнфоБизнес. 6.06.2000. № 20. С. 27.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

вые выступления рубежа веков казались повторением молодежного бунта 1968 года, вторым изданием тогдашней «новой левой». Можно сказать, что и «новая левая» и радикалы начала 2000-х годов бросали вызов традиционным левым организациям почти в той же мере, как и капитализму. В то же время будущее «традиционных организаций» в очень большой степени и тогда и теперь зависело от способности воспринять новые импульсы, идущие от стихийного движения и обновить себя в диалоге с ним. Однако в 1999—2001 годах среди активистов движения постоянной темой стала не только критика официальной социал-демократии и «сталинистской традиции», но и критика «новой левой» 60-х годов, которая оценивалась, как движение, не сумевшее достичь своих целей и деградировавшее.

В течение XX столетия основной массовой базой как социал-демократических, так и коммунистических партий Запада оставалось организованное рабочее движение. В 1980—1990-е годы упадок профсоюзов в развитых индустриальных странах стал общепризнанным фактом. Однако на рубеже веков обнаружились новые тенденции, заставляющие по-новому взглянуть на будущее рабочих организаций. В то время как профсоюзы Западной Европы стабилизировались, произошло резкое увеличение численности и активизация профсоюзов «третьего мира». Это отражает на политическом уровне социально-экономические сдвиги, произошедшие в этих странах — рост рабочих организаций является естественным следствием индустриального развития, а их политический радикализм — следствие гораздо более тяжелого положения трудящихся на периферии мирового капитализма (что также имеет прямое отношение к процессам глобализации).

Перемены происходят не только в странах «периферии». Новые политические тенденции наметились к концу 1990-х в более развитых странах, включая даже США, где профсоюзы стали искать новых методов работы и организации⁷. Взаимоотношения между новыми антикапиталистическими движениями и профсоюзами стали также важнейшим предметом дискуссий, как в традиционных рабочих организациях, так и среди «антиглобалистов».

Изменения, кризис и упадок, наблюдаемые в левых партиях на протяжении большей части 1990-х годов, выглядят особенно парадоксально на фоне их относительной электоральной стабильности. Сочетание стабильных, а порой и успешных результатов на выборах с глубоким внутренним кризисом заставляет искать ответа не в анализе конкретных политических решений, принятых теми или иными лидерами, а в чем-то другом.

Хотя кризис левых партий нередко связывают с крушением советской системы в 1989—1991 годах, он имеет гораздо более глубокие причины, как в эволюции капиталистического общества, так и во внутреннем развитии самих левых организаций. К числу этих причин можно отнести — изменение роли и значения национального государства в процессе глобализации, информационную революцию, вызвавшую резкие сдвиги в структуре и характере наемного труда, изменение социальной базы самих левых партий, что неизбежно влечет за собой сдвиги в сфере идеологии.

Несмотря на то, что большая часть западных левых (включая крупнейшие коммунистические партии) критически относилась к советскому опыту, распад СССР и последовавшая затем реставрация капитализма в России спровоцировали острейший идеологический кризис в левом движении.⁸

Однако, где яд, там и противоядие. После краткого периода отрицания привычной теории, наступило время идейных поисков. Интерес к марксизму (причем не только в левых кругах) резко оживила именно глобализация, подтвердившая многие прогнозы Карла Маркса относительно развития капитализма как мировой системы, разрушающей границы

⁷ См.: *The Future of Trade Unionism*. Ed. By M. Sverke. Ashgate. Aldershot etc., 1997.

⁸ В качестве примера дискуссии, посвященной кризису в левом движении и попыткам преодоления этого кризиса в конце 90-х годов можно привести сборник *After the Fall. 1989 and the Future of Freedom*. Ed. By G. Katsiafcas. N.Y.: Routledge, 2001.

и втягивающей в свой оборот все страны и народы. Этот интерес к Марксу как пророку глобализации проявился в ходе парижской международной конференции 1998 года, посвященной 150-летию «Коммунистического манифеста»⁹. Аналогичным образом рассматривались вопросы об актуальности марксизма в дискуссиях, организовывавшихся Фондом розы Люксембург в Германии¹⁰ и «Брехтовским Форумом» в США.¹¹

То, что в конце 1990-х считалось среди левых «обнадеживающей тенденцией», к началу 2000-х стало новой массовой модой. Посвященные марксизму книги стали выходить впечатляющими тиражами, выступления радикальных ораторов начали собирать массовые аудитории, а в Интернете «красные» сайты резко повысили свои рейтинги. Начавшись в Западной Европе, волна нового молодежного радикализма докатилась к 2002—2003 годам и до России.

По мере того, как возрождалось левое движение, становились очевидны и возникающие в нем противоречия. Старые политические организации столкнулись и с интеллектуальным вызовом, брошенным теоретиками, которых эти партии на протяжении предыдущего десятилетия тщательно игнорировали.

Процессы трансформации и идеологического и организационного обновления левых сил в России приняли, как всегда бывает у нас, яркую и самобытную форму. От их исхода, в конечном счете, зависит и характер формирующегося в нашей стране политического спектра, партийно-политической системы и, возможно, будущее демократических институтов. Именно типичное для западной молодежи 2000-х годов ощущение неадекватности и, зачастую, недейственности, формальности привычных демократических институтов стало одной из причин того, что ареной политической борьбы стала улица. Однако если на Западе речь идет о кризисе сложившейся системы парламентаризма, то в России отражают элементарное отсутствие практической демократии.

Вписываясь в мировую капиталистическую систему, российское общество неизбежно создает условия и для формирования радикального социалистического движения, отвечающего требованиям современности. Главное историческое достижение капитализма, видимо, и состоит в том, что благодаря ему появляется на свет революционная антикапиталистическая альтернатива.

⁹ Le manifeste communiste, 150 ans apres. Rencontre Internationale, Paris. 13 au 16 mai 1998. Contributions. Fevrier 1998.

¹⁰ См. E. Hobsbawm u.a. Das Manifest – heute. 150 Jahre Kapitalismuskritik. VSA-Verlag, Hamburg, 1998. См. Также Cuadernos del Sur (Buenos Aires). 1998, № 26.

¹¹ Conference report: Manifestivity. In: Socialism and Democracy, 1998 v. 12. № 1—2 (23—24), a special issue dedicated to 150 years of the Communist Manifesto.

Глава I

Глобализация

Каждая эпоха любит хвастаться своей «новизной». Так, по крайней мере, обстоят дела в капиталистическом обществе, которое готово предлагать даже исторические и философские термины как товары, выставляемые на рынок. Чем чаще появляются новые термины – тем лучше, ибо это поддерживает интерес к дискуссии.

Слово «глобализация», появившись в экономической литературе конца 1980-х годов, получило, распространение в прессе к середине 1990-х, а к концу десятилетия сделалось не просто общепринятым, но и модным. Идеологи нового либерального порядка подчеркивали, что речь идет о глобальном торжестве идей и структур «западной цивилизации», триумфе «открытого общества». Действительно, в 90-е годы XX века, после распада советского блока, капитализм стал не просто господствующей, а единственной и единой системой в масштабах планеты. Относится это не только к принципам частного предпринимательства, к свободному рынку и формальным нормам буржуазной демократии, но и к идеологии, провозглашающей накопление капитала наиболее рациональным и здоровым принципом общественного развития. При этом капитализм восторжествовал в своих радикальных, агрессивно-либеральных формах, как на уровне практики, так и на уровне идеологии. Что, впрочем, закономерно. «Умеренные» формы буржуазной общественной практики и сознания – «смешанная экономика», «социальное государство», правительственное регулирование, социальный либерализм и все то, что позднесоветская интеллигенция восхищенно называла «цивилизованным капитализмом» – сами по себе сложились в качестве уступки правящих классов вызовам антисистемных движений XIX и XX веков¹², а также являлись ответом на конкуренцию советского блока. С крахом СССР и ослаблением антикапиталистической оппозиции отпала нужда и в идеях «умеренных» идеологов в самом либеральном лагере.

Что касается левых, то они резко разделились на две группы. Одни (большинство левого «политического класса») пришли к выводу о совершенной невозможности противостоять «естественному ходу вещей», поставив перед собой единственную задачу: успешно приспособиться к новым требованиям буржуазного общества. Другая группа (более радикальные представители движения) вместе с протестующими массами составила костяк возникшего на рубеже XX и XXI столетия «антиглобалистского движения».¹³

В качестве наиболее серьезных критиков «корпоративной глобализации», выработавших идеологию и аргументацию «антиглобализма», можно назвать Американскую исследовательницу Сьюзан Джордж, филиппинца Уолдена Белло, сингапурского экономиста Мартина Хора¹⁴. Хотя они работают в разных странах, речь явно идет о единой международной «школе» экономического анализа, что тоже можно считать результатом развития глобального капитализма. Все эти авторы являются не только признанными академическими экономистами, но и активными участниками различных международных неправительственных организаций. Показательно также, что, несмотря на различие культур между представите-

¹² Термин «антисистемные движения» введен в обиход Самиром Амином. Под ним – применительно к XX веку – понимаются европейское рабочее движение и национально-освободительное движение в колониальных странах.

¹³ Обзор дискуссий между левыми по поводу глобализации см. B: Morvan F. *A gauche, deux visions de la mondialisation. Utopie critique*. 1999. № 15. См. Также: Amin S. *Te New Capitalist Globalisation*. Links, 1996—1997. № 7—8; Freeman A. *Te Poverty of Nations*. Links. 1996. N 7.

¹⁴ См.: Bello W., Sh. Cunningham, в. Rau. *Dark Victory. United States, Structural Adjustment and Global Poverty*. L. TNI/Pluto Press, 1994; Bello W. *Brave New World. Strategies for Survival in the Global Economy*. L. Earthscan, 1990; George S. *Te Lugano Report*. Pluto Press, 1999; Khor M. *Rethinking Liberalisation and Reforming the WTO*. Presentation at the World Economic Forum at Davos (Switzerland), 28.01.2000 (полный текст см. на сайте Tird World Network: www.twn.org.sg).

лями «Севера» и «Юга», антиглобалистская литература существует именно на английском языке.

Различия между идеологами «антиглобализма» проявляются не столько в подходе или методологии, сколько в радикализме выводов. Как и во всяком оппозиционном движении, здесь воспроизводится противостояние между реформистским и революционным отношением к системе. Единодушно отрицая неолиберализм, «антиглобалистские» авторы куда менее единодушны в отношении будущего капитализма. Чем больше распространяются сомнения в благотворности последствий глобализации, тем чаще в рядах критиков обнаруживаются представители элит.

В 1998—1999 годах противники международных финансовых институтов получили неожиданного союзника в лице Дж. Стиглица, в недавнем прошлом – главного экономиста Мирового Банка. Поработав несколько лет на одной из самых важных руководящих должностей планеты, Стиглиц выступил с осуждением системы, обвинив ее в вопиющей неэффективности и очевидной злонамеренности.¹⁵

Анализируя итоги неолиберальных реформ в Восточной Европе, Стиглиц отметил в январе 2000 года, что, за исключением Польши, «все перечисленные страны после перехода к рыночной экономике достигли меньшего, нежели до него. Более того, они не могут даже достичь уровня 1989 года». Подобные результаты тем более катастрофичны, что системы советского типа сами по себе не отличались высокой эффективностью и к 1989 году находились в глубочайшем кризисе. «Но еще хуже обстоит дело, если мы посмотрим на данные о бедности. 18 из 25 рассматриваемых стран, по которым есть данные, показывают, что количество людей, живущих в бедности, выросло с 4% до 45% населения». При этом, отмечает Стиглиц, вопреки официальной теории «быстрее росла экономика в странах с более высокой инфляцией, а не наоборот»¹⁶. Как и следовало ожидать, после подобных выступлений Стиглиц вынужден был покинуть Мировой Банк.

¹⁵ См. Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М.: Мысль, 2003.

¹⁶ Stiglitz J., Quis Custodiet Ipsos Custodes? (Who is to guard the guards themselves)// Challenge. 1999. Nov. – Dec. Vol. 42, № 6.

Власть и рынок

Растиражированная тысячами популярных книг и журналов, банальная мудрость современного либерализма объявляет эпоху глобализации временем, когда национальное государство не то чтобы уходит в прошлое, но как будто утрачивает самостоятельное значение. Вместе с ним должен отмереть и традиционный социалистический проект. Ведь на протяжении XX века левые связывали перспективы социальных преобразований именно с национальным государством. Это в равной степени относится и к социал-демократическим, и к коммунистическим, и к левосоциалистическим партиям. Между тем к 70-м годам XX века стало очевидно, что государство уже не располагает монополией на власть. Мишель Фуко потряс умы французской интеллигенции, продемонстрировав, что власть в обществе расплывлена и находится вовсе не там, где ее принято искать. Еще более сильным ударом по концепциям левых оказался демонтаж системы государственного экономического и социального регулирования, начавшийся в 80—90-е годы XX века.

Осознав, что государство не располагает полнотой реальной власти в обществе современного капитализма, левые растерялись. Если реальный контроль осуществляется за пределами государства, быть может, надо вообще снять вопрос о борьбе за власть? Найти другие способы изменить мир? тем более что борьба за власть породила авторитарную практику большевиков и бюрократическую рутину социал-демократии¹⁷. Но если государство не является *всей* властью, это еще не значит, что вопрос о власти может быть решен вне государства и помимо него. Поскольку капиталистический рынок не может обойтись без вне рыночных институтов, государство, будучи само по себе некоммерческим учреждением, играет ключевую роль, обеспечивая не только финансирование публичных институтов, но и взаимосвязь между развитием экономики и различных структур социальной сферы.

Чем меньше государство поддерживает социальную сферу, тем менее оно легитимно в глазах населения, и тем труднее ему защищать сложившийся общественный порядок. Антонио Грамши в «тюремных тетрадах» не случайно уделил так много места вошедшему позднее в моду понятию «гегемонии». Без определенного согласия управляемое государство вряд ли могло бы осуществлять свою классовую функцию. А это значит, что, будучи инструментом правящего класса, государственная система не может не учитывать и интересы других слоев общества. Кризис государственности наступает тогда, когда институты власти оказываются неспособны к этому.

Противоречивость государства отражается в противоречивости политики левых по отношению к нему. Но проблема существует не только для левых. Либерализм, провозглашающий принцип «меньше государства», постоянно нуждается в полицейском принуждении, чтобы осуществить свои идеи на практике. На первый взгляд кажется странным, что либерализм, будучи идеологией буржуазии, нападает на буржуазное же государство, изображая его неэффективным, насквозь бюрократизированным и в значительной мере бесполезным. Если почитать либеральных публицистов, пишущих о жизни современной России, легко прийти к выводу, будто, правительственный аппарат президента Путина только и делает, что вставляет палки в колеса бизнесу и препятствует развитию рынка. Однако в это же время частные компании делают рекордные прибыли, буржуазные отношения развиваются, а акции стремительно растут в цене.

¹⁷ В качестве наиболее выразительного примера можно привести книгу: Holloway J. Change the World Without Taking Power. The Meaning of Revolution Today. L.: Pluto Press, 2005. В данном случае наиболее поучительным является даже не то, что подобная книга вообще могла быть опубликована и совершенно серьезно обсуждаться в левой среде, а то, что она предложена публике не в качестве продукта анархистского или либертарного дискурса, а как образец современного марксизма.

Противоречие здесь мнимое: либерализм направлен против *не-буржуазных* элементов в буржуазном государстве. Он не против полицейского насилия (когда оно направленно на защиту частной собственности), но постоянно призывает свести к минимуму роль институтов, не связанных непосредственно с защитой капиталистического порядка. Парадокс в том, что социальные уступки стабилизируют капиталистические отношения куда эффективнее, чем полицейские репрессии. Поэтому последовательные либеральные идеологи то и дело выступают в неожиданной для себя роли людей, которые дестабилизируют существующий буржуазный порядок, навлекая на себя не только гнев государства, но и недовольство прагматически мыслящих лидеров бизнеса.

Представители социальной сферы тоже не любят государство, но им становится еще хуже, когда государственные институты слабеют. Интеллектуалы, в свою очередь, терпеть не могут чиновников, но постоянно обращаются к ним за помощью, особенно, когда им нужны деньги. Без государства светская интеллигенция существовать неспособна. Другое дело – церковная. Она может кормиться от паствы, это доказано историей феодализма. Но современный интеллектуал не готов уходить в монастырь.

Социальная сфера, играющая все большую роль в жизни человечества, не может развиваться вне государства, и в то же время структуры государства совершенно непригодны для нее. Противоречие между теоретической потребностью в обновленном государстве и практической несостоятельностью государства нынешнего выливается в беспомощность политической стратегии левых сил, путанные заявления идеологов и растерянность активистов. В целом идеологи смирились с навязанным им либералами образом государства как унылой бюрократической машины, которая ничем эффективно управлять не может, а лишь пожирает деньги налогоплательщиков. Тем более что подобные образы возникают не на пустом месте. В большинстве стран отнюдь не левые были создателями государственной бюрократии. И все же к концу XX века именно они оказались в сознании миллионов людей ее служителями и защитниками. В то же время правые силы эффективно используют в своих интересах и раздражение граждан против государства, и не менее сильную потребность граждан в государственной защите перед лицом внешней угрозы. А этой угрозой все чаще оказываются не полчища иноземных завоевателей, а горы иностранных товаров, толпы полуголодных иммигрантов и стремительно интернационализирующаяся мафия. Короче – естественные последствия самой проводимой правыми глобальной экономической политики.

В 90-е годы XX века возможность серьезных структурных реформ на уровне национального государства была поставлена под сомнение. Глобализация стала ключевой идеей неолиберализма в 1990-е годы на фоне растущего разочарования масс в рыночных реформах. Разочарование это охватывало практически все страны, испытавшие на себе прелести свободного рынка. Бывший левый социолог Фернандо Энрике Кардозо, ставший позднее правым президентом Бразилии, с важным видом объяснял главному редактору Российского журнала: глобализация это прогрессивная интеграция мировых рынков – финансовых и прочих. Это формирование относительно единой производственной системы и распространение ее на весь мир. Такова современная форма капитализма. Динамика глобализации определяется крупными корпорациями. Именно они обладают ресурсами, необходимыми для рационализации производства, а также информацией и средствами ее обработки, что позволяет ориентироваться в ситуации и принимать верные решения. В определенном смысле глобализация – это современное воплощение прогресса, и в этом ее можно сравнить с индустриализацией в Европе в начале XIX века, радикально изменившей привычный порядок. Многие выступали тогда против промышленной революции, но их протесты не остановили ход истории. То же самое и с глобализацией. Для вящей убедительности Кардозо вспомнил молодость и привлек в союзники основоположника марксизма: «Что за странные люди! –

наверняка сказал бы об антиглобалистах Карл Маркс, будь он сегодня жив. – выступать против глобализации – это практически то же самое, что отрицать идею прогресса».¹⁸

Все здесь основано на подмене понятий, затемнении смысла и игре словами. Насколько верными и обоснованными являются решения, принимаемые корпорациями, мы могли убедиться во время финансового кризиса 1998 года, не только обрушившего экономику десятков развивающихся стран, но и уничтожившего многомиллиардные инвестиции наиболее информированных и компетентных финансистов. Промышленная революция представляла собой массовое внедрение новой техники, и многие либеральные публицисты ссылались именно на информационные технологии как на основу глобализации. Однако Кардозо, будучи бразильцем, прекрасно знал, что в ходе глобализации наблюдалось не только внедрение новой техники, но и вытеснение машин в глобальном масштабе дешевым ручным трудом (другое дело, что компьютерные сети позволяли эффективно координировать взаимодействие предприятий, внутренний распорядок которых оказывался порой совершенно средневековым).

Если убрать риторику и демагогию, становится понятно, что для Кардозо всевластие капитала тождественно прогрессу, а суть глобализации он справедливо трактует как распространение ничем не ограниченной и ни перед кем не ответственной власти корпораций в масштабах планеты. Обратной стороной этой власти становится, согласно либеральной теории, резкое сокращение хозяйственных и социальных функций государства, возвращение его к типичной для начала XIX века роли «ночного сторожа». Это подают как явление закономерное, необходимое и прогрессивное.

Среди левых тезис о «бессилии государства» получил тройственное обоснование. Правительства были объявлены бессильными по отношению к транснациональным корпорациям (таким, как «Microsoft», «Ford», «Газпром»), к международным финансовым институтам (таким, как всемирная торговая организация, Мировой Банк и Международный Валютный Фонд) и, наконец – к межгосударственным образованиям, например, по отношению к институтам, создаваемым в Европе на основе Маастрихтского договора, или к Североамериканскому договору о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (North American Free Trade Agreement – NAFTA).

Отношение к европейской интеграции стало на Западе одним из ключевых вопросов для левых партий. Принципы, записанные в Маастрихтском договоре и других соглашениях, оформляющих новые правила игры в объединенной Европе, полностью соответствуют требованиям неолиберализма и трудно совместимы с традициями «социального государства». Разумеется, институты «социального государства» тоже не могут быть устранены в одночасье, но их эрозия является очевидным фактом точно так же, как и связь этой эрозии с формами, которые принял процесс европейской интеграции с конца 1980-х годов. Среди левых произошло новое принципиальное размежевание – между теми, кто ради формирования единой Европы считает допустимым и даже необходимым демонтаж институтов «социального государства» (обещая, конечно, потом все подправить), и теми, кто, сохраняя приверженность традиционным принципам, выступает против новых европейских институтов (по крайней мере, в их неолиберальной форме).

¹⁸ Россия в глобальной политике т. 3. № 5, 2005. С. 196.

Новое и забытое старое

При всей новизне вопросов, вставших на рубеже XX и XXI веков, глобализация вовсе не является чем-то качественно новым для истории буржуазного общества. Капитализм зародился и возник сначала именно как мировая система¹⁹. Эта мировая система достигла первого пика своего развития к началу XVII века, после чего разразился длительный кризис, сопровождавшийся войнами и революциями. Лишь к концу XVIII века стал развиваться национальный капитализм, укорененный в социальной структуре конкретных западных обществ. Таким образом, национальный капитализм, да и сами современные нации, является не предпосылкой, а продуктом развития буржуазной мировой системы.

Джеймс Петрас и Иммануил Валлерстайн вычленяют целый ряд последовательных циклов глобализации капитализма, за которыми следовали циклы деглобализации, или, если угодно, циклы «национального развития»²⁰. Вторая «глобализация» развернулась в 1830—1914 годах, завершившись новыми войнами и революциями. На исходе XX века капитализм опять становится непосредственно глобальным. Но это не отменяет существования национального общества и государства, хотя они (как и в эпоху раннего капитализма) оказались в глубоком кризисе.

Петрас, разумеется, не первый, кто говорит об исторической цикличности в развитии капитализма. Английский исследователь Рэй Кайли (Ray Kiely) замечает, что процесс глобализации подробно описан уже в «Коммунистическом манифесте» Маркса и Энгельса. «Таким образом, для Маркса глобализация в конечном итоге — это продукт динамики капиталистического способа производства, которая, в свою очередь, порождена исторически специфическими производственными отношениями».²¹

Петрас обращает внимание на то, что и транснациональные корпорации имеют прямых предшественников в лице торговых компаний XVI—XVIII веков. Развитие капитализма в принципе циклично, и нет никаких оснований утверждать, будто перемены, произошедшие в обществе к концу XX века, в принципе «необратимы». И все же не следует упускать из виду и качественное отличие глобализации от предыдущих периодов интернационализации капитализма. Благодаря технологическому подъему и победе в «холодной войне» капиталистическая мировая система впервые в своей истории действительно стала всемирной системой. Предсказание Маркса и Энгельса о капитализме, преодолевающем все государственные и национальные границы, сделанное в «Коммунистическом манифесте», сбылось в полной мере лишь 150 лет спустя.

Полемизируя с теми, кто связывает глобализацию исключительно с технологическим переворотом, Петрас склонен считать, что технология вообще не имеет отношения к этому процессу. Она совместима с разными экономическими механизмами. Глобализация порождена изменившимся в пользу капитала соотношением классовых сил. Проблема, однако, не в том, с чем «совместима» технология, а как она влияет на общее развитие капитализма. В этом смысле взгляды Петраса, несмотря на вполне понятный политический пафос, представляют

¹⁹ Подробнее история становления капиталистической миросистемы изложена в работах Иммануила Валлерстайна (см. Wallerstein I. *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century* Academic Press, London, 1974) и Фернана Броделя (см. Бродель Ф. *Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв.* В 3 т. М. Прогресс, 1988—1992).

²⁰ См.: Wallerstein I. *Unthinking Social Science*. Cambridge, 1991. P. 57; J. Petras in: *Links*. 1996 July-October. № 7. P. 60. Ср.: Harman Ch. *Globalisation: a critique of a new orthodoxy*. *International Socialism*. 1996. Winter, Nr. 73. Согласно Харману, получается, что идеология глобализации играет в классовой борьбе значительно большую роль, нежели глобализация производственных связей.

²¹ Kiely R. *Empire in the Age of Globalisation. US Hegemony and Neoliberal Disorder*. L.: Pluto Press, 2005. P. 34.

собой пример своеобразного социологического субъективизма. Анализируя мировую экспансию капитализма в XIX веке, Маркс и Энгельс вовсе не считали технологию нейтральной, напротив, они прямо связывали новые фазы развития капитализма с новыми производственными возможностями.

Показательно, что «интернациональные» циклы в развитии капитализма совпадают с периодами, когда технологии, обеспечивающие связь, торговлю и коммуникации, развиваются быстрее, чем собственно производственные. Торговый капитализм XVI—XVIII веков был временем географических открытий, стремительного усовершенствования морских судов (достаточно сравнить тихоходные средиземноморские галеры с фрегатами нового времени), дорожного строительства и т. п. Индустриальная революция совпадает с подъемом национального государства. Появление фордистских технологий массового производства тоже совпадает с усилением роли государства в XX веке. Производство всегда локально, оно нуждается в конкретном «месте», где нужно решать конкретные социальные и политические проблемы.

В конце XX века, несмотря на рост производительности труда в промышленности, темпы развития коммуникационных технологий оказались существенно выше. Именно здесь мы видим наиболее впечатляющие достижения технологической революции. Это, безусловно, является объективной предпосылкой глобализации. Однако так будет не всегда. Развитие капитализма не только циклично, оно и неравномерно. С этой точки зрения можно по-новому взглянуть на знаменитые «кондратьевские циклы», или «длинные волны», в развитии капитализма. Открытие знаменитого русского экономиста 1920-х годов Н.Д. Кондратьева, обнаружившего, что в развитии капитализма периоды многолетней экспансии сменяются столь же затяжными эпохами депрессии, оказало огромное влияние на социальных историков и социологов. Конечно, и депрессии, и рост относительно, деловая конъюнктура постоянно колеблется, но долгосрочные тенденции все же очевидны. Если посмотреть на приведенные Кондратьевым даты, легко заметить, что фазы экспансии (сам исследователь несколько тяжеловесно называл их «повышательными волнами») совпадают с возрастанием роли национального государства. Другое дело, что растущее влияние государства на экономику проявляется порой не в прямом вмешательстве, а в увеличении военных заказов и вынужденном протекционизме – как во время «континентальной блокады», сопровождавшей наполеоновские войны. Показательно, что отмена «континентальной блокады» после распада империи Наполеона приводит не к бурному росту экономики, а, напротив, к затяжным депрессиям. Фазы длительного спада, напротив, как легко обнаружить, характеризуются преобладающим развитием средств обмена и коммуникаций. По Кондратьеву, выдающиеся технологические новации часто предшествуют фазе подъема в мировой экономике, причем сам Кондратьев, приводя многочисленные данные о датах изобретений, не обратил внимания на то, что на «понижательные волны» приходится как раз наибольшее количество изобретений в области транспорта. Массовое внедрение новых производственных технологий начинается еще в период «понижающейся волны», но само по себе меняет «правила игры» капитализма. Происходит это не сразу. Более того, перемены приходят не механически, не сами собой, а через цепочку социальных, политических и экономических кризисов. Кондратьев делает еще один важный вывод, на который впоследствии мало кто обращал внимание: «На периоды повышательных волн больших циклов приходится наибольшее количество важнейших социальных потрясений, как революционных, так и военных»²². Напротив, фазы спада в кондратьевских циклах совпадают с эпохами политической реакции.

С точки зрения кондратьевской теории «длинных волн», мы находимся сейчас на рубеже. Волна понижения мировой экономической конъюнктуры, начавшаяся в 1970-е годы,

²² Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989. С. 205.

вроде бы подходит к концу. Но и новая фаза подъема никак не может начаться. Некоторые аналитики даже говорят о том, что «кондратьевские циклы» перестали работать, другие полагают, что они стали предельно короткими (подъем начался в первой половине 1990-х годов, но в начале 2000-х уже сменился «понижительной волной»). По мнению большинства экспертов, нам предстоит начало нового цикла, причем переход от одной фазы экономического развития к другой неизбежно сопряжен с политическими и социальными потрясениями. Начавшийся в 1997—1998 годы мировой финансовый кризис и биржевой кризис 2000 года в США – лишь первые симптомы этого процесса. Мощный всплеск радикальных движений и развязывание Соединенными Штатами войны в Афганистане и Ираке в 2002—2003 вписываются в эту же логику.

На самом деле проблема не в Кондратьеве, а в примитивной интерпретации его идей современными экономистами. В реальной жизни смена фаз происходит не сама собой, не механически, с неизменностью смены времен года, а через общественно-политические кризисы и борьбу противостоящих друг другу сил.

Проект гегемонии

В современной экономической публицистике сложилось мнение, будто развитие коммуникационных технологий само по себе повысило мобильность капитала, подорвав возможности государственного регулирования. Но дело в том, что электронные технологии могут в равной степени использоваться как для перемещения капитала, так и для более эффективного государственного контроля за этими перемещениями.

В действительности не технологии сами по себе, а изменившееся соотношение классовых сил в мире (поражение коммунистического блока, исчерпанность ресурсов развития социал-демократических моделей к концу 1970-х, кризис национально-освободительных движений) способствовало «освобождению» финансового капитала²³. В свою очередь, рост мобильности капитала создал спрос на развитие информационных технологий.

И все же технологические процессы далеко не нейтральны. Они порождают собственные противоречия. Глобализация может рассматриваться не только как победа капитала над трудом в масштабах мирового рынка, но и как торжество финансового капитала над промышленным. В новых технологических условиях скорость финансовых транзакций резко возрастает, тогда как инвестиции в «реальный сектор» требуют практически столько же времени, что и 20 лет назад. Это порождает рассогласование финансовых потоков и производственных процессов, в конечном счете, дестабилизирующее систему в целом. Перераспределение из медлительной «реальной экономики» в динамичный финансово-спекулятивный сектор сопровождалось перекачкой средств и в тесно связанный с ним «информационный бизнес». Однако коммуникационные технологии не могут постоянно развиваться форсированными темпами просто потому, что обществу это не нужно. К середине 1990-х годов предложение технологических новаций явно превышало спрос. Сопротивление пользователей введению новых процессоров и компьютерных систем стало серьезной проблемой для действующих на этом рынке компаний. В 2000 году произошел резкий обвал стоимости акций компаний «информационного сектора» (американский индекс NASDAQ). Цикл подошел к концу.

Если в период бурного роста предпринимательские круги склонны добиваться ограничения государственного вмешательства, снижения налогов и т. д., поскольку перераспределительная деятельность правительства может замедлить развитие компаний-лидеров, то в периоды спада, напротив, возрастает потребность буржуазии в государственном регулировании. Именно поэтому критика глобализации начинает звучать не только со стороны левых, но и из уст влиятельных представителей буржуазной элиты²⁴. Однако механизмы такого регулирования в 90-е годы XX века были существенно подорваны и должны будут в XXI веке фактически создаваться заново. Это объективно открывает широкое поле деятельности для левых сил, которые могут предложить новые общественные проекты, в том числе и существенно более радикальные, нежели прежде. Однако сами левые силы, перенесшие тяжелейшие поражения в конце XX века, оказываются, как правило, не на высоте ситуации.

Потребность в замене неолиберализма новым государственным регулированием осознается и антикапиталистическими радикалами и буржуазными прагматиками. Так возни-

²³ См.: *Amin S.* Re-Reading the Postwar Period. N.Y., 1994. P. 207; *Clarke S.* Keynesianism, Monetarism and the Crisis of the State. Aldershot, 1988. P. 358.

²⁴ Если сумму программных установок неолиберализма часто называют «вашингтонским консенсусом», то подобную критику изнутри истеблишмента южноафриканский социолог Патрик Бонд метко назвал «поствашингтонским консенсусом». Этот подход представляет собой парадоксальное сочетание уверенности в правильности избранных методов с трезвым признанием того, что на практике они не работают (см. *P. Bond, Fanon's Warning: A Civil Society Reader on the New Partnership for Africa's Development* Trenton: Africa World Press and Cape Town: AIDC, 2005).

кает положение, при котором революционный (антикапиталистический, социалистический) и реформистский вектор направлены одинаково – и в том, и в другом случае первым шагом является восстановление национального суверенитета, возрождение государства как экономического агента, способного действовать автономно по отношению к буржуазии. Но каким будет это государство? в качестве проводника интересов буржуазной элиты государство из экономики ни на один день не уходило. Но теперь для регулирования нет ни идеологического обоснования, ни кадров. Социал-демократические партии настолько прониклись идеологией неолиберализма и «монетаризма», настолько стали частью буржуазного порядка, что они отстаивают сегодня принципы неолиберализма даже решительнее и последовательнее, чем традиционные правые, которые в силу своего прагматизма готовы идти на известные компромиссы.²⁵

Неприятие экономически активного государства, действующего в интересах большинства населения, не просто роднит новых социал-демократов с правыми. Подобный подход делает и тех и других последовательными противниками демократии – в массовом обществе без экономически активного государства демократические выборы теряют всякий смысл. Зато у находящихся у власти социал-демократических и прочих «левых» правительств появилось великолепное алиби: тезис о «бессилии государства». Этот тезис является самореализующимся прогнозом. Государственная власть, действующая строго по правилам, навязанным неолиберальной идеологией и программами Международного валютного Фонда, и в самом деле становится бессильной. Социологи, придерживающиеся «общепринятых» тезисов, подчеркивают, что в новых условиях «экономики суверенных государств являются уже не столько *субъектами*, сколько *объектами*», а «идея некоей альтернативы обречена на провал»²⁶. По существу, это означает отрицание самой возможности демократического процесса. Точнее, вместо процесса *содержательного*, предполагающего, что граждане страны самостоятельно выбирают свое будущее, предлагается формальный процесс, сводящий политику к борьбе за личную власть нескольких, не отличающихся друг от друга группировок.

И все же на практике, несмотря на то, что международные финансовые институты и транснациональные корпорации приобрели огромное влияние, ни те ни другие не могут проводить свою политику без посредничества государства. Опыт Восточной Европы показал, что правительства, особенно левые, очень любят объяснять собственные решения «внешними факторами». На деле все обстоит несколько иначе. Болгарский профсоюзный лидер Красчо Петков констатирует: «Не отрицая влияния программ структурной перестройки на эрозию трудовых стандартов и социальной защиты, а также и традиционного монетаристского подхода международных институтов, следует отметить и особые «заслуги» национальных правительств в этой области. Игнорирование или недооценка международных стандартов и правил, недооценка роли социальной политики зачастую являются результатом национальной инициативы, а не внешнего влияния. В данном случае правительства лишь прикрываются требованиями международных финансовых институтов, а те, в свою очередь, открыто не возражают».²⁷

Глобализация делает компании не только больше, но и сложнее, а порой и уязвимее. Потому и возникает требование стандартизировать законы, повсеместно ввести схожие

²⁵ Термин «монетаризм» используется в экономической литературе для обозначения концептуальной основы неолиберального подхода. Согласно представлениям Милтона Фридмана, единственным источником инфляции являются государственные расходы, а важнейшей экономической задачей правительства является борьба с инфляцией. Предполагается, что чисто математическими методами может быть подсчитано некое «оптимальное» количество денег в экономике, которое должно потом поддерживаться.

²⁶ Россия в глобальном мире. М., 1997. С. 44, 99.

²⁷ Рабочая политика. 1996. № 6. С. 42.

социальные нормы, открыть рынки. Неправда, будто транснациональный капитал не нуждается в государстве. Без участия государства он не мог бы удерживать необходимые ему рынки открытыми, а границы закрытыми, он не мог бы манипулировать ценой рабочей силы и товаров. Если бы все национальные рынки слились воедино, а мировой рынок стал полностью однородным, это было бы не триумфом, а концом глобализации. Ведь в этом смысле не было бы никакой необходимости производить товары для европейского потребителя в далекой Азии, ибо там стоимость рабочей силы сравнялась бы с европейской. Такая интеграция сделала бы издержки, связанные с транспортировкой товаров непомерно большими по сравнению с их себестоимостью. Короче, поддержание и развитие экономики глобализации требует поддержания рыночного разрыва между странами и регионами – прежде всего в той мере, в какой это касается стоимости рабочей силы. Национальное государство с его запретами, таможами и границами играет в этом деле решающую роль.

Капитализм невозможен без права, а право также немислимо вне государства. Даже пресловутое «международное право» не существует само по себе. Оно реализуется силами конкретных государств, которые в соответствии со своими интересами и возможностями спокойно терпят одни нарушения и жесточайшим образом наказывают другие.

Иракский конфликт 2003 года стал крупнейшим разоблачением мифов глобализации. На первый план опять выступило национальное государство – не только как военная сила, но и как сила политическая, экономическая. Транснациональные и межнациональные структуры показали свое бессилие: и Организация Объединенных Наций, и Североатлантический альянс (НАТО), и Евросоюз не смогли выступить в качестве единой силы; более того, они раскололись на вполне традиционные блоки национальных государств. Даже транснациональные компании разошлись по «национальным квартирам». Смещение капиталов не помешало потребительскому бойкоту (против франко-германских компаний в США и против Американских во всем остальном мире). А стремление вытеснить европейский капитал из Ирака вообще было для правительства США и стоявших за ним корпораций одной из главных задач войны.

Соединенные Штаты могут позволить себе новый имперский проект, основанный на мощи одной отдельно взятой страны. В Западной Европе, напротив, складываются предпосылки для формирования своеобразной имперской коалиции. Инструментом интеграции становится единая валюта и объединение капиталов крупнейших корпораций. Но эта имперская коалиция очевидным образом не совпадает с границами и структурами Европейского Союза. Франко-германский блок внутри Евросоюза противостоит как традиционным британским интересам, так и элитам «новой Европы» (правлящим кругам бывшего коммунистического блока, ориентированным на нового хозяина – США). Причины раскола надо искать отнюдь не в геополитике, а в том, как развивается международный рынок капитала. Британия не примкнула к единой европейской валюте вовсе не потому, что англичанам дороги их старые фунты с портретом королевы, а потому, что в качестве финансового центра лондонский Сити противостоит Франкфурту.

Казалось бы, мы снова вернулись к миру, каким он был в эпоху империализма в начале XX века. Однако блоки национальных государств оказались не такими, какими они были в начале XX столетия. Классический империализм времен Ленина и неимпериализм сегодняшнего дня различаются между собой так же, как броненосец Первой мировой войны и бомбардировщик «Стелс». И, тем не менее, опыт прошедшего столетия не может быть проигнорирован.

Если приоритеты государства могли быть пересмотрены либералами, они могут изменяться и под давлением трудящихся. Политическая воля необходима и она реализуется через власть. «Бессилие государства» – пропагандистский миф. Но для того, чтобы государство смогло вновь осуществлять регулирующие функции в интересах трудящихся, оно должно

быть радикально преобразовано и в известном смысле глобализировано (через демократически организованные межгосударственные сообщества). А левым организациям, борющимся в изменившихся условиях, нужна уже не только взаимная солидарность, но и прямая координация действий, позволяющая эффективно проводить кампании на межнациональном уровне.

Завоевание власти левыми имеет смысл лишь постольку, поскольку позволяет изменить правила игры, положить конец самовозрастанию «либеральной» бюрократии, а заодно и *разрушить* связь между национальными правительствами и международными финансовыми институтами и транснациональными корпорациями. Для многих из этих институтов массовое несотрудничество и враждебность национальных правительств будет означать настоящую катастрофу (особенно если недовольные государства попробуют создать собственные параллельные международные структуры или преобразовать действующие). Именно потому, что многие радикальные альтернативы прямо-таки лежат на поверхности, для неолиберальной идеологии вопросом жизни и смерти является недопущение самой мысли о возможности каких-то новых подходов к экономике. Тонны бумаги и несметное количество телевизионного времени, огромные интеллектуальные силы затрачиваются на то, чтобы подавить любое обсуждение альтернатив.

Межгосударственные объединения могут стать субъектами регулирования. На этом уровне может получить новый импульс и развитие общественного сектора. Однако интеграция, проводимая в рамках неолиберальной стратегии, не приблизит нас к подобной перспективе ни на шаг. Межгосударственные структуры, создаваемые для обслуживания современного буржуазного проекта, не могут быть ни косметически улучшены, ни демократически реформированы, ибо в самой основе их лежит отрицание демократии. Переход к новому типу интеграции возможен лишь через острый кризис, который, скорее всего, завершится разрушением подобных структур.

Глобализация конца XX века – третья по счету за историю капитализма – качественно отличается от всех предыдущих. Если в XVI—XVIII веках, как и сейчас, интернационализация экономики сопровождалась острым кризисом государства, то в конце XX века усиление государства (по крайней мере, в странах «имперского центра») шло рука об руку с экспансией капиталистического рынка. Именно в этом – сущность явления, названного империализмом. Во времена ранних буржуазных революций речь шла о подрыве основ феодального государства. Напротив, в эпоху империализма государство оказалось вполне адекватно задачам капиталистического развития, оно было вполне буржуазным. То, что мы наблюдаем в конце XX века, свидетельствует, что между нынешними формами государственности и интересами капитала возникло противоречие. В кризисе не государство как таковое, а лишь те его структуры и элементы, которые в своем развитии переросли рамки капитализма. Третья глобализация оказалась неразрывно связана с социальной реакцией.

Неолиберализм был «проектом гегемонии» в точном соответствии с представлениями западного марксизма²⁸. Технологические перемены, вызвавшие сдвиги в социальной структуре общества, не могли не спровоцировать и кризис гегемонии. Социал-демократический консенсус, типичный для Европы 1960-х и начала 1970-х годов, оказался под вопросом. Кризис был использован международными финансовыми институтами и неолиберальными идеологами для продвижения собственного проекта. С одной стороны, была подорвана тра-

²⁸ Понятие «проект гегемонии» возникло как переосмысление идей Антонио Грамши в работах французских, а позднее и английских марксистов 1960—1970-х годов. Речь идет о том, что определенный культурный, политический или идеологический «проект» завоевывает доминирующие позиции в обществе – далеко за пределами тех социальных слоев, в интересах которых он был разработан. Лежащие в основе его идеи делаются господствующими во всем обществе, позволяя их носителям осуществлять идеологическую и политическую гегемонию, вести людей за собой, консолидировать нацию и т. д..

диционная классовая гегемония в мире труда, а с другой – транснациональные корпорации смогли внести в мир капитала «новое классовое сознание», консолидировав его вокруг себя²⁹. Классовое сознание трудящихся было размыто, их связь со своими партиями и профсоюзами ослаблена. Напротив, правящий класс почувствовал себя сплоченным как никогда. Конечно, это не могло устранить противоречия между отдельными группами буржуазии, не говоря уже о конкуренции между корпорациями, но, как и полагается в любом классовом проекте, частное подчинено целому, особое – общему.

Именно беспрецедентная консолидация элит предопределила поразительную силу неолиберального проекта. Различные группировки продолжали борьбу между собой, но – в рамках общего направления. Отныне смена правительств не вела к смене курса, а столкновение интересов свелось к лоббированию. Однако новая, повсюду однотипная структура господства неизбежно накладывается на гораздо более сложную и разнообразную структуру реальных обществ. Поэтому, не претендуя на то, чтобы сделать человеческое общество единым или однородным (это подорвало бы возможность капитала к глобальному манипулированию), неолиберализм одновременно стремится упростить для себя задачу, делая эти общества структурно однотипными, а потому легко понимаемыми и управляемыми по общим правилам.

В свою очередь, левые партии и движения протеста становятся носителями идеологии плюрализма, разнообразия, этнокультурного «многоцветия» в современном мире. Точно так же в условиях, когда под воздействием транснациональной бюрократии ослабевает значение народного представительства, левые оказываются силой, отстаивающей права граждан по отношению к корпорациям и международным финансовым институтам, не имеющим, в отличие от представительных органов, «народного мандата».

²⁹ О росте «классового сознания» и даже «идеологии классовой борьбы» в рядах буржуазии см.: Wallach Bologh R. «Geezers Will Crack the Whip» as Shareholders Battle Labor for «Loot». Social Security and Capitalist Class Consciousness // *The Wall Street Journal* 1998—1999. A paper presented to the convention of American Sociological Association. August 2000.

Конец свободы

Традиционный аргумент радикальных демократов со времен Жан-Жака руссо состоял в том, что либеральные демократические институты хороши, но недостаточны. Можно и нужно расширять сферу свободы. В конце XX века эта аргументация утратила прежнюю силу. Выход за пределы традиционных институтов формальной демократии необходим не потому, что мы теоретически можем создать нечто лучшее, а потому, что эти институты в прежнем виде уже не работают. Если радикальную реформу государства не возьмут на себя левые, то ее рано или поздно предложат радикальные правые. Если демократия не утвердит себя как вне рыночная и в значительной степени антирыночная система, то массы пойдут за теми, кто призывает к ограничению рыночной стихии во имя авторитета, иерархии, нации и дисциплины.

Исключая вопросы социальной и экономической организации общества из сферы демократии, мы лишаем ее конкретного жизненного содержания. Обнаруживается, что теоретики «открытой экономики» не только отрицают право граждан на принятие принципиальных общественных решений, но, парадоксальным образом, с глубокой враждебностью относятся и к фундаментальным основам европейского индивидуализма. Ведь под «открытой экономикой» подразумевается не движение товаров – в этом смысле всякая экономика является открытой, если это не натуральное хозяйство – а именно свобода движения капиталов. Мерой «свободы» экономики является снятие с капитала любых ограничений, в первую очередь связанных с ограничением эксплуатации труда и защитой прав человека.

Еще древние философы знали, что безграничное расширение свободы для одних оборачивается ограничением или подавлением свободы других. В данном случае свобода для капитала оборачивается несвободой для труда. Капитал, становясь единственным субъектом экономической деятельности, все же представляет собой «вещь», «предмет», «объект» (и деперсонифицированный, транснациональный акционерный капитал – тем более). Труд, напротив, есть не что иное, как совокупность живых людей и ничем иным быть не может. Провозглашая преимущество капитала над трудом, теоретики «открытой экономики» занимают принципиально антигуманистическую и потому антииндивидуалистическую позицию, подчеркивая тем самым, что вещь ценнее личности. Впрочем, еще Оскар Уайльд заметил, что индивидуализм и капитализм, в конечном счете, несовместимы.

Глобалистский либерализм представляет собой не что иное, как агрессивную форму коллективного эгоизма социальных элит. Это социальная безответственность, восторжествовавшая на глобальном уровне. Такой организованный коллективный эгоизм неизбежно ведет к авторитарным и тоталитарным видам политического поведения даже в том случае, если конкретные вопросы «технически» решаются в соответствии с процедурами буржуазной демократии. Демократическая форма становится пустой или получает новое содержание, не обеспечивая участие граждан в принятии решений, а лишь маскируя авторитарный характер проводимой политики.

Ликвидация социальных программ государства повсюду проходила под лозунгом борьбы с бюрократией. Увы, жизнь демонстрировала иную тенденцию. Крах советского централизованного планирования сопровождался бурным ростом централизованных структур транснациональной бюрократии, как частных, корпоративных, так и надгосударственных.

Система, основанная на бюрократической централизации, неизбежно предполагает авторитаризм. В соответствии с философией глобализации избранные народом органы должны отказаться от части своего суверенитета в пользу международных учреждений, неподотчетных избирателю. Даже в Западной Европе, гордящейся своими демократическими традициями, с каждым новым шагом интеграции структуры Европейского Союза все

менее подконтрольны гражданам. Интеграция оборачивается усилением бюрократии, эрозией народного представительства. В начале XXI века брюссельские чиновники Евросоюза вправе были требовать от новых членов сообщества отчетности по такому количеству параметров, которое не снилось и аппарату советского Госплана, включая такие показатели, как диаметр помидора или «европейский стандарт презерватива».³⁰

Реформы, рекомендовавшиеся Международным валютным Фондом, были по своим подходам одинаковы в Зимбабве и в России. Обоснование этого подхода великолепно сформулировал главный экономист Мирового Банка Лоренс Соммерс: «Законы экономики такие же, как законы механики. Одни и те же правила действуют повсюду»³¹. Хозяйственная жизнь не только никак не зависит от культуры или географии, но и не связана с историей, уровнем развития производительных сил или структурой общества. Экономические законы, которые характерны для Соединенных Штатов начала XX века, должны были действовать и в древнем Шумере, и в империи Инков, и в средневековой Московии. Разница лишь в том, что древние шумеры их не знали, а Соммерс знает.

Одни и те же люди, не знающие ни языка страны, ни ее истории, ни даже текущих политических раскладов, перемещались из конца в конец планеты, превратившись в сплоченную и самоуверенную команду непогрешимых экспертов, диктующих свою волю правительствам и парламентам. В тропиках или в тундре, в индустриальных или в аграрных странах, в обществах с грамотным городским населением или среди горных племен – всюду проделывался один и тот же нескончаемый эксперимент. Одними и теми же методами и повсюду с примерно одинаковыми последствиями. Результатом стало резкое увеличение нищеты в глобальных масштабах, рост числа региональных конфликтов, преступности и коррупции.

Масштабы государственного вмешательства в экономическую, социальную и культурную жизнь на протяжении 80—90-х годов XX века не сокращались, а напротив возрастали. Дерегулирование тоже есть форма интервенционизма, только извращенная³². Но теперь вмешательство было направлено на разрушение общественного сектора, снижение жизненного уровня, снятие таможенных барьеров. Практика показывает, что поддержание рынков открытыми требует не меньшей активности правительства, чем протекционизм. Происходит лишь реструктурирование правительственного аппарата и изменение приоритетов. «Как это ни парадоксально, но в условиях рыночной экономики административный глобализм Российского правительства иногда превосходит гигантоманию, которой страдали экономические структуры бывшего СССР, – писала «Независимая газета». – вспомним, что непомерно высокая цена ошибки в советской управленческой иерархии была одной из главных причин кризиса отечественной экономики». Неолиберальный курс не решил этой проблемы. Более того, в результате приватизации и либерализации в руках центральной бюрократии оказалось еще больше власти. «Молодые реформаторы» анатолий Чубайс и Борис Немцов, поддержанные экспертами Международного валютного Фонда, произвольно ворочали миллиардами долларов, перестраивали структуры как детский конструктор, не неся ни малейшей ответственности за последствия своих решений. «в нынешнем российском правительстве, – продолжает «Независимая газета», – цена реформаторской ошибки возросла неимоверно, поскольку решения Чубайса и Немцова и их сподвижников «тянут» на десятки миллионов долларов. И при этом, в отличие от централизованно управляемой экономики бывшего

³⁰ См.: *Marijnissen J.* Enough! A Socialist Bites Back. Socialistische Partij, Te Netherlands. S. L, 1996. P. 121.

³¹ *Keegan W.* The Spectre of Capitalism: The Future of the World Economy After the Fall of Communism. Lnd.: Radius, 1992. P. 109.

³² Венгерский экономист Л. Андор и его английский коллега М. Саммерс подчеркивают, что все деятели МВФ, пропагандирующие свободный рынок, по сути, являются служащими общественного сектора, живущими на деньги налогоплательщиков из стран-кредиторов. Да и сами международные финансовые институты не могут существовать без государственных дотаций. См.: *Andor L. Summers M.* Market Failure. Pluto Press: London – Chicago, 1998.

СССР, реформаторам позволено действовать без какого бы то ни было внешнего контроля». Необъятная власть сконцентрировалась в руках узкой группы лиц, управляющих финансовыми потоками в государстве. «в России близится к завершению формирование монополии на принятие решений, касающихся жизни десятков миллионов людей».³³

Восторжествовав в глобальном масштабе, МВФ и Мировой Банк стали играть в капиталистической системе примерно такую же роль, как некогда Центральный Комитет КПСС – в рамках «коммунистического блока». Эксперты МВФ и Мирового Банка определяли, что делать с угольной промышленностью в России, как перестраивать компании в Южной Корее, как управлять предприятиями в Мексике. Вопреки общим словам о торжестве «свободного рынка», мировая практика еще не знала такой централизации. Даже правительства Запада вынуждены считаться с этой параллельной властью. Однако грандиозный успех породил не менее грандиозные проблемы, свойственные любым сверхцентрализованным системам. Дело вовсе не в том, что неолиберальная модель капитализма обрекает большинство человечества на бесперспективную нищету, а страны «периферии» – на зависимость от стран «центра». Подобные «моральные» и «идеологические» проблемы не могут волновать «серьезных людей». Проблема в том, что цена ошибки возрастает в невероятной степени. Огромные ресурсы, которыми управляет МВФ, позволяют «стабилизировать» ситуацию. Но проблемы не устраняются, через некоторое время кризис повторяется. Именно по такому пути шли Брежнев с товарищами, благо СССР получал огромные доходы от продажи нефти. Потом деньги кончились, а Советский Союз развалился.

Практически нигде неолиберализм не привел к резкому сокращению правительственного аппарата. Разумеется, случай России, которая, сократив общественный сектор почти в десять раз, увеличила государственный аппарат примерно в три раза, является экзотическим, но все же не уникальным. Повсюду в мире пока одни правительственные службы сокращались, другие росли. Снижение расходов на социальные нужды сопровождается ростом репрессивного аппарата, приватизация общественного сектора резко увеличивает нагрузку на налоговую службу и т. д. Сбалансированный бюджет в долгосрочной перспективе оказывался труднодостижимой целью, а финансовый кризис государства удавалось преодолеть лишь немногим счастливым, обладавшим дорогостоящими ресурсами, которые можно было выгодно продать по монопольным ценам на внешнем рынке. Однако даже для такой богатой полезными ископаемыми страны, как Россия, приток средств из-за рубежа в 1999—2007 годах оказался скорее проклятием, чем благословением. Мало того, что сыпавшиеся в казну и частные сейфы нефтедоллары способствовали разрастанию управленческого аппарата, поддерживали паразитическое существование государственных чиновников и высокопоставленных корпоративных менеджеров. Эти средства невозможно было выгодно разместить в собственной экономике, обескровленной неолиберальными реформами. Деньги, поступавшие в страну, вывозились за рубеж, бессмысленно складывались в стабилизационный фонд, разворовывались или проедались. Инвестиции в «реальный сектор» осуществлялись преимущественно иностранными компаниями, стремившимися «застолбить» свою долю перспективного и растущего за счет нефтедолларов потребительского рынка.

Тоталитарный характер идеологии и практики глобализации отмечен многими авторами. Английский журналист Крис Харман говорит о «новой ортодоксии», навязанной обществу. В основе ее, как и в любой другой догматической системе, лежит теория, которая не столько анализирует реальность, сколько «говорит нам о том, как все *должно* быть».³⁴

³³ Независимая газета. 15.05.1997.

³⁴ International socialism. Winter 1996, № 73. P. 5.

Обманутые надежды

МВФ, ВТО и Мировой Банк повсеместно требуют отказа от государственного регулирования и приватизации, ссылаясь на то, что либеральные меры автоматически вызовут бурный экономический рост, который, в свою очередь, приведет к сокращению бедности, решив «естественным образом» все проблемы, с которыми не смогло справиться «неэффективное государственное регулирование», социальные программы и социалистические эксперименты. На практике, однако, обещанный экономический рост наступает довольно редко. В большинстве стран, подвергшихся реформам, наступал резкий спад. В последующий период, разумеется, спад прекращается, но показатели роста редко перекрывают докризисный уровень. Так, в Восточной Европе после 10 лет реформ существенно перекрыла уровень 1989 года только Польша, которая на самом деле «падала» еще с 1979 года. Восстановили «советский» уровень еще несколько стран, но все без исключения страны после либерализации отстают от западных соседей больше, чем до нее. Исключением является только Словения, отказавшаяся от приватизации по рецептам МВФ и к началу XXI века вплотную приблизившаяся к западноевропейским показателям.

В ряде стран «третьего мира», где экономический рост все же был достигнут, разрыв между богатыми и бедными не сократился, а увеличился. Плоды роста достались узкому слою богатых, в «среднем классе» произошло расслоение между небольшой привилегированной частью, связанной с крупными корпорациями, и представителями «реального сектора», оказавшимися в достаточно трудном положении.

Один из парадоксов институциональной троицы ВТО/ МВФ/МБ состоит в том, что все эти учреждения создавались в послевоенный период как раз в качестве альтернативы глобальной рыночной стихии, как инструменты государственного регулирования в международном масштабе. Теперь мы имеем массу чиновников, оплачиваемых за счет налогоплательщиков, которые разъезжают по миру, заставляя правительства сокращать участие государства в экономике. Разумеется, диктовать свои условия они могут лишь странам «третьего мира» и бывшего «коммунистического блока», а содержатся преимущественно за счет ресурсов Запада. Конгресс США неоднократно критиковал МВФ за нарушение финансовой дисциплины, что не мешало представителям фонда требовать от национальных правительств сокращать свои расходы, дабы научиться «жить по средствам». Если бедные страны защищают свои рынки, ВТО обвиняет их в протекционизме и грозит санкциями. В тех же случаях, когда бедные страны успешно играют на рынке, против них применяют антидемпинговые санкции.³⁵

Чем более бескомпромиссно насаждается новый либеральный порядок на планете, тем более очевидными становятся его теневые стороны. Неолиберальная реакция, получившая мощный толчок благодаря успеху капиталистической системы в борьбе с советским блоком, обернулась серьезной дестабилизацией буржуазного порядка на низовом уровне.

Либеральная модель капитализма нестабильна в принципе. Это оборотная сторона ее динамики. Нестабильность классического капитализма в XIX веке привела Карла Маркса к

³⁵ Анекдотическим примером работы бюрократов из ВТО является история с производством автомобильчиков для гольф-клубов (golf-cars) в Польше. После того, как польские экспортеры наводнили ими рынок США, Американские производители в соответствии с уставом ВТО начали антидемпинговую процедуру. Согласно этой процедуре надо выбрать страну с абсолютно схожими социально-экономическими условиями и подсчитать, во сколько обойдется там соответствующее производство. Если оно окажется существенно дороже, разница оценивается как демпинг. Нелепость этой процедуры сама по себе очевидна, но применение оказалось еще более скандальным. В качестве «аналогичной страны» была выбрана... Канада. Загвоздка в том, что в Канаде вообще нет производства golf-cars. В итоге, как и следовало ожидать, цена изготовления одной машинки оказалась немисливо высокой. Были введены впечатляющие антидемпинговые пошлины, и соответствующая промышленность в Польше просто прекратила свое существование.

выводу о неизбежности циклических кризисов и социалистических преобразований. Спустя 80 лет те же факты подтолкнули Дж. М. Кейнса к тому, чтобы предложить свой проект «смешанной экономики», регулируемой государством. Отвергнув критику Маркса и Кейнса, разрушив структуры, созданные под влиянием их идей, новый мировой экономический порядок вернул нас к правилам игры «классического» капитализма – со всеми вытекающими последствиями, включая кризисы перепроизводства, финансовые катастрофы (являющиеся оборотной стороной «победы» над инфляцией), в конечном счете – революции. Правда, теперь есть МВФ, работающий одновременно как идеологический центр и «пожарная команда». Однако, по мнению скептиков, «пожарные» сами разбрасывают окурки по лесу.

Функции планирования и регулирования никуда не делись. Они лишь были приватизированы, как и все остальное. Модель «идеальной конкуренции» по Адаму Смиту предполагает действие на рынке сразу сотен или тысяч независимых производителей, не имеющих информации друг о друге, а потому ориентирующихся на уровень цен и текущий спрос. На протяжении всего XX века формировались крупные корпорации, действующие по иным правилам. Возникла ситуация «олигополии». Корпорации вполне способны ориентироваться на рынке, собирать информацию о конкурентах и партнерах, управлять ценами, регулировать уровень производства. Только делается это не в интересах публики, а в своих собственных. В этом плане русские жалобы на олигархический капитализм совершенно не уникальны. Американские республиканцы жалуются на олигархию не меньше, чем российские либералы.

«Свободный рынок» по Адаму Смиту как саморегулирующийся механизм, в современных условиях ни технически, ни экономически невозможен. «в подобной ситуации, – писал известный экономист Мартин Хор, – нет никакого “свободного рынка” в классическом смысле слова, когда одновременно действует множество продавцов и покупателей, каждый из которых контролирует лишь незначительную долю рынка, и никто не может изменить общую ситуацию, манипулируя ценами. Напротив, немногие крупные компании и предприниматели могут контролировать столь значительную долю производства, продаж и закупок, что способны определять цены и даже в течение определенного времени произвольно понижать или повышать их».

Мировая экономика, подчиненная сверхцентрализованным корпорациям, живет по принципу олигополии. «то, что происходит сейчас на финансовых рынках, – типичный пример олигополии и манипуляции. Несколько крупных фондов, зачастую специализирующиеся на спекулятивных портфельных инвестициях, контролируют значительную часть денежных потоков (как в виде наличности, так и в виде кредитов), и они изучили все трюки, позволяющие им обогащаться с помощью любых финансовых инструментов.

Они могут манипулировать курсом валют, ценами акций и банковскими ставками, в результате порождая финансовую нестабильность и экономический хаос».³⁶

Либеральные экономисты отвечали на подобную критику, что все перечисленные проблемы возникают не из-за «свободного рынка», а как раз от недостатка рыночного самоконтроля в экономике. Но в том-то и беда, что чем более экономику либерализуют, чем более активно проводится политика дерегулирования, тем более она становится монополизированной, олигополистической и централизованно-бюрократической. Лишаясь возможности ограничивать частную инициативу, государство открывает дорогу для стихийной монополизации экономики. «Свободный рынок» на рубеже XX и XXI веков является идеологической фикцией, существующей только в сознании идеологов и распропагандированных ими масс. Политика, направленная на проведение «рыночных реформ», независимо от того, насколько успешно она проводится, просто не может дать обещанных идеологами результатов, ибо

³⁶ Tird World Resurgence. 1998. November. № 99. P. 29.

подобные результаты недостижимы в принципе. Зато она неизбежно даст иные результаты – укрепив власть международных финансовых институтов и транснациональных монополий.

18 лет глобального укрепления транснациональных институтов (примерно с 1980 по 1998 год) дали примерно те же результаты, что и 18 лет брежневской стабильности в СССР. Глобальные элиты, сконцентрировав в своих руках грандиозные ресурсы, не просто понемногу теряли чувство реальности, но и начали позволять себе все более грубые ошибки, ибо немедленного «наказания» за эти ошибки не следовало. При столь огромной власти создается ложное ощущение, будто справиться можно практически с любой неприятностью, а потому нет необходимости беспокоиться из-за накапливающихся нерешенных проблем. Одновременно резко падает качество управления, снижается компетентность руководящих кадров, нарастает коррупция в системе. Чем больше корпорация, тем сильнее в ней развиваются внутренние групповые интересы, вступающие в конфликт друг с другом.

В большинстве стран, где неолиберальные реформы проведены «успешно», возникли и однотипные проблемы. Россия не уникальна, разница лишь в масштабе и остроте этих проблем. Ведь с таким размахом и с таким энтузиазмом, как у нас, монетаристские программы не проводились нигде в мире.

Подобно своим советским предшественникам, идеологи «современного либерализма» пытаются ориентироваться на «передовой опыт» и «положительные примеры». Как некогда в Советском Союзе, любые проблемы объясняют ошибками отдельных руководителей, а достижения – результатом последовательного и мудрого курса. Первоначально образцом последовательного и успешного проведения реформ была объявлена Чешская республика. В начале 2000-х годов эта страна переживала глубокий кризис. Либеральные идеологи тотчас же обнаружили огромное количество ошибок, которых в упор не замечали за несколько лет до того. Публике сообщили, что пражские чиновники не провели «подлинной приватизации», саботировали реформы и т. д. (что, кстати, отчасти правда – этим и объясняется относительная стабильность Чехии в первой половине 1990-х). В качестве спасительного рецепта чехам рекомендовали провести ряд мер, уже приведших Россию к дефолту в 1998 году. Мексике несколько раз предоставляли помощь для преодоления финансового кризиса, провозглашали ее образцом «успеха», а затем в срочном порядке предоставляли дополнительную помощь для выхода из нового кризиса. Каждый раз денег нужно было больше. Это не помешало предлагать Мексику в качестве образца для Южной Кореи.

Латинская Америка – заповедник неолиберализма

Какие бы проблемы ни возникали в обществе, либеральная мысль никогда не признает их связи с капитализмом и рынком. Винить можно что угодно – национальную специфику, бюрократию, коррупцию, иностранное вмешательство, политические ошибки. Лишь фундаментальные принципы либеральной экономики не могут быть поставлены под сомнение, это аксиома. Капитализм, частная собственность, рынок и свобода торговли являются основами преуспевания и благосостояния. Если же применение этих принципов не ведет к ожидаемому результату, то дело не в исходных принципах, а во внешних обстоятельствах, которые блокируют прогресс.

Типичным примером подобного подхода может быть книга Альваро Варгаса Льосы «Свобода для Латинской Америки», имеющая выразительный подзаголовок: «Как преодолеть пять столетий государственного угнетения». Сразу приходят на ум «Сто лет одиночества» Габриеля Гарсиа Маркеса, но автор пошел дальше – одного столетия ему явно недостаточно. Проблемы Латинской Америки имеют непрерывную пятисотлетнюю историю, причем с первых же страниц книги мы понимаем, что, по большому счету, ничего не меняется. Проблем у континента Альваро Варгас Льоса насчитал тоже пять: корпоративизм, государственный меркантилизм, привилегии, перераспределение богатства (wealth transfer) и политический закон. Автор обнаруживает все эти явления уже в империи древних майя, откуда они плавно переходят к ацтекам, инкам, испанским конкистадорам, правительствам свободных креольских республик, а в итоге достаются в наследство нынешнему поколению лидеров Латинской Америки.

Лечить все болезни нужно с помощью неизменного курса на приватизацию и свободу торговли. Проблема в том, констатирует сам же Льоса, что десятилетие неолиберальных преобразований завершилось экономической катастрофой и всеобщим возмущением. И все равно он продолжает искать причину не в самих реформах, а в культурных и институциональных препятствиях, на которые они натолкнулись. Льоса категорически отрицает мнение о том, что в основе проблем континента может лежать что-либо, кроме его собственных недостатков. Никакой «зависимости» от Запада никогда не было, просто Латинская Америка (очевидно, мучимая комплексами) «убедила себя, будто проблема слаборазвитости связана с “зависимостью”». А попытки исправить положение с помощью импортозамещающей индустриализации автор характеризует как «иллюзию экономического национализма».³⁷

Характерно, что авторы, пропагандирующие свободную торговлю, неизменно избегают анализа мировой экономики как целого, постоянно обращаясь к частным случаям отдельных стран или регионов, как будто те существуют в хозяйственном вакууме. Система международного разделения труда не упоминается, а хозяйственные связи стран Латинской Америки с США и Западной Европы упоминаются только в связи с тем, что они недостаточно свободные. Даже радикальное и многолетнее открытие рынков неизменно характеризуется как недостаточное. Как и положено либеральному идеологу, Льоса видит образец успешного общества в Западной Европе, но особенно – в США, с которых он и призывает брать пример. Правда, не во всем. К Америке тоже есть претензии: Запад еще недостаточно последовательно проводит в жизнь принципы капитализма и свободной торговли: «Если Соединенные Штаты хотят продвигать капитализм свободного рынка в Латинской

³⁷ VargasLlosa A. Liberty for Latin America. How to Undo Five Hundred Years of State Oppression. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 2005. P. 55.

Америке, он должны сами следовать собственным принципам. Если они это сделают, они укрепят ценности свободы».³⁸

Начиная с середины 70-х годов XX века, Латинская Америка действительно оказалась пионером рыночных экспериментов, впоследствии тиражированных по всему миру. Именно здесь провозвестники неолиберализма, экономисты «чикагской школы», которых тогда в Соединенных Штатах многие еще считали реакционными Романтиками³⁹, получили возможность беспрепятственно осуществлять на практике свои идеи, взятые на вооружение диктаторскими режимами в Чили, Аргентине, Уругвае, а позднее и в других странах⁴⁰. Реализация эксперимента сопровождалась массовыми казнями и не менее массовым обнищанием населения, но одновременно происходила реструктуризация экономики, за счет усилившейся эксплуатации низов общества формировался новый средний класс. Ликвидация военных режимов в конце 1980-х годов не привела к резкому изменению курса. Два десятилетия репрессий сделали свое дело: оппозиция была обескровлена и деморализована. И лишь в начале XXI века континент охватил самый настоящий бунт. Повсюду от Аргентины до Мексики вспыхивали народные волнения, забастовки, а порой и вооруженные восстания. Неолиберальная модель разваливалась на глазах.

Но даже это всеобщее отторжение не заставило идеологов свободной экономики изменить свой взгляд на вещи. Книга Льюиса – лишь один пример из тысяч образчиков подобной продукции, заполнивших с некоторых пор прилавки книжных магазинов во всех концах света. Та же позиция типична для либерального исследователя, пишущего об Украине, России, Африке или Индии. О чем бы ни шла речь, нам предлагается преодолеть некие местные условия, препятствующие повторению иноземного успеха. Каковы же эти условия? У латиноамериканцев, русских, Африканцев, восточноевропейцев неизменно есть две беды: культура и институты.

Культура остается консервативной, традиционной, ориентированной на какие угодно ценности, только не на рыночный успех, а государство – большим, корпоративным, авторитарным и непременно коррумпированным. Поскольку связь между коррупцией и рынком не подлежит обсуждению, искать причины общественных пороков надо в каких-то мистических чертах национального характера или в природе государства как такового. Причем государство сохраняет свои отрицательные черты независимо от хода истории. Даже если оно само приватизирует все подряд и неукоснительно проводит политику свободной торговли, это ничего не меняет.

Между тем сохранение «старого» государства в условиях «новой» экономической реальности само по себе закономерно. Государство, разумеется, не остается неизменным, оно тоже преобразуется, приспособляясь к меняющимся условиям. И если правительство сохраняет черты авторитаризма и корпоративизма, то вряд ли все можно объяснить одной лишь инерцией.

Либеральному автору легко говорить про пять столетий, поскольку вера во всеобщее значение принципов «свободной экономики» несовместима с историзмом. Западные, либеральные институты, порядки, принципы – «правильные»; они универсальны, внеисторичны. Их успешная реализация является признаком «нормального» общества. Остальные институты и порядки, напротив – результат специфических условий. Аномалии, отклонения от

³⁸ Ibidem. P. 78.

³⁹ Именно так воспринимал их Дж. К. Гэлбрейт, ведущий авторитет в Американской экономической мысли 1960-х годов. См. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969.

⁴⁰ Любопытно, что Милтон Фридман, ведущий теоретик «чикагской школы» и консультант чилийского диктатора аугусто Пиночета, постоянно подчеркивал связь между рыночной и политической свободой (см. Фридман М. Капитализм и свобода. М.: Новое издательство, 2006). Эта декларативная привязанность к ценностям западной демократии не помешала ему сотрудничать с одним из самых жестоких тиранов своего времени.

нормы, зигзаги истории. В этом ненормальном положении находится почти все человечество на протяжении большей части своей истории. Что же, тем хуже для человечества.

Если марксисты считают, будто капитализм порожден определенным этапом развития общества, имеет начало и, следовательно, будет иметь конец, то либеральные мыслители твердо убеждены в обратном. Законы экономики так же объективны, внеисторичны, внесоциальны и неизблемы, как, например, и законы механики в физике Ньютона. Хорошие правительства – те, кто идет навстречу «естественным законам». Плохие – те, кто пытается им препятствовать. Соответственно, у первых все должно получаться, у вторых, напротив, все должно проваливаться. Поскольку в реальной жизни часто случается наоборот, нужно найти какое-то объяснение. Культура и институты дают нам возможность ответить, «почему все не так».

Обвинения в адрес латиноамериканской культуры весьма похожи на аналогичные обвинения, звучащие в адрес культуры русской или Африканской. Макс Вебер писал о связи протестантизма с духом капитализма. Латиноамериканцам не повезло: они остались католиками. А уж в России совсем плохо: восторжествовало православие.

То, что кальвинизм выступил, например, в Англии в качестве идеологического обоснования буржуазной революции, не подлежит сомнению. Но была ли английская революция просто результатом кальвинистской пропаганды? Почему протестантизм добился успеха в Германии и был разгромлен в Литве? Почему в России, при весьма толерантном отношении государства к немецкому протестантизму, выходцы из Остзейских провинций занимались не бизнесом, а государственной службой, причем по уровню коррупции нередко давали фору своим православным коллегам? Националисты и либералы любят ссылаться на древние традиции (первые ими гордятся, вторые на них жалуются). Но самые древние традиции уступают давлению обстоятельств. В Белоруссии в XVI веке было Магдебургское право, традиции самоуправления и сеймы. Это не помешало в конце XX века приходу к власти Александра Лукашенко.

Культура неуловима и условна, а политические и социальные институты осязаемы и конкретны. Но дело в том, что в Латинской Америке, как и в России, институты менялись неоднократно. Каждый раз смена социально-политических институтов была теснейшим образом связана с изменением экономических структур и курсов. Увы, каждая из фаз «неудачного» развития Латинской Америки была попыткой имитировать соответствующую фазу экономической политики, господствовавшей в мире и на Западе, находилась под влиянием доминировавших на Западе идей.

Институты развивались, менялась экономическая политика, но отставание сохранялось неизменно. Другое дело, что дистанция то увеличивалась, то сокращалась, странным образом становясь меньшей при «неправильной», с точки зрения либеральных идеологов, политики, и увеличиваясь, когда возвращались к политике более «правильной», рыночной.

Рост правительственного участия в экономике западных стран и стран Латинской Америки происходили синхронно, являясь выражением одной и той же общей тенденции, единого процесса реконструкции буржуазной миросистемы. Наступление неолиберализма тоже развернулось на Западе и в Латинской Америке примерно в одно время, под влиянием одних и тех же идей.

Если мы не хотим и дальше блуждать в потемках идеологического сознания, придется вернуться к реальности и присмотреться к фактическому ходу истории. Вопреки общепринятым тезисам, культура и институты Запада являются не столько причиной, сколько следствием его успеха. Там, где достигался социально-экономический успех, стабилизировались и институты буржуазной демократии, причем даже в странах, ранее не имевших европейской традиции. Но там, где успех не был достигнут, буржуазная демократия не прививалась, даже если для этого было множество культурных предпосылок.

Успех давал возможность сложиться институтам и развиваться культуре. Они, в свою очередь, закрепляли успех. Там же, где дела шли плохо, и культура, и институты увядали. Центральная Европа и Италия, процветавшие в эпоху позднего Средневековья, пришли в упадок к XVII веку. Не помог весь блеск возрождения. Это не значит, будто культура, традиция, институты не важны. Они являются фактором, стабилизирующим общественные отношения, их передовой линией, а порой и последним рубежом обороны. Но там, где культура или институты лишены опоры на благоприятные для них социально-экономические отношения, они неизбежно терпят крах. Победившая общественная система часто не уничтожает старую культуру и институты, а трансформирует их, превращая в один из самых ценных своих трофеев (монархия и аристократия в буржуазной Британии, кастовая система в капиталистической Индии и др.).

Вопрос в том, что предопределяет успех одних и неудачу других. В рамках мирового рынка одно с другим тесно связано. Это простейший математический факт, который не отрицает и либеральная экономическая наука, предпочитающая, впрочем, о нем пореже вспоминать. Ведь в условиях конкуренции, при ограниченном количестве ресурсов победитель достигает успеха за счет проигравших. Чем значительнее победа, тем больше число проигравших и тем весомее их потери. Такая модель, кстати, заложена даже в детской игре «Монополия».

Максимум, к чему может призвать либеральный экономист, это достичь благополучия за счет других. Иными словами, не только обеспечить подъем собственной страны, но и добиться упадка кого-то из конкурентов. Но в отличие от детской игры, стартовые условия конкурентов не равны. А потому слабые страны «третьего мира» будут проигрывать всегда, и тем плачевнее будут обстоять их дела, чем более активно они будут вовлечены в глобальное соревнование.

Основная конкуренция разворачивается именно между относительно бедными странами, которые вынуждены отчаянно вырывать друг у друга крохи, остающиеся им от гигантского пирога мирового рынка. Как отмечал южноафриканский исследователь Патрик Бонд, «растущая конкуренция со стороны нескольких стран, активно экспортирующих продукцию обрабатывающей промышленности (Мексика, Бразилия, восточная Азия) снизила шансы Африки на собственную индустриализацию».⁴¹

По той же причине иллюзорны и надежды на то, что интеграция в мировой рынок может стимулировать индустриальное возрождение России. Напротив, чем более активно отечественная экономика втягивается в международное разделение труда, тем более она специализируется на продаже сырья. Финансовые ресурсы, поступающие в страну за счет благоприятной конъюнктуры и монопольных цен на топливо, по большей части не идут на развитие отечественной промышленности, а инвестируются за рубежом. Что с точки зрения корпоративных интересов является вполне разумным подходом: действовать непосредственно на мировом рынке выгоднее, чем поднимать производство в русской провинции.

Действительные причины успеха стран, составляющих «центр» мировой системы, состоят в международном разделении труда и централизации капитала. В моменты неустойчивости страны «центра» могут прибегнуть и к применению вооруженной силы.

Идеология развития (*Desarollismo*) стремилась изменить место Латинской Америки в глобальном разделении труда. Но и само разделение труда в капиталистической миросистеме меняется. Таким образом, политика ускоренного развития далеко не всегда ведет к изменению соотношения сил. Если все это происходит в рамках рыночного подхода, то она может, в конечном счете, даже способствовать очередной реконструкции системы и закреплению зависимости на новом уровне. Именно это, а не мифический «избыток» государства

⁴¹ Bond P. Looting Africa: The Economics of Exploitation. Lnd. – N.Y.: 2006. P. 15.

привело к кризису латиноамериканского развития к середине 1980-х. Латинская Америка не стала самостоятельным центром накопления капитала. А это означает, что все усилия, направленные на подъем экономики, будут в итоге вести лишь к «развитию слаборазвитости».⁴²

⁴² Термин «развитие слаборазвитости» введен в научный обиход Андре Гундер Франком (см. Gunder Frank A. Capitalism and Underdevelopment in Latin America. New York: Monthly Review Press, 1967).

Российская лаборатория

Далеко не все беды мировой экономики порождены неолиберализмом. В условиях Восточной Европы было бы нелепостью отрицать влияние прошлого. Куча проблем унаследована ими от советской системы. Но в том-то и дело, что странам, переживавшим в 1990-е годы трудные времена, вместе с кредитами предлагался пакет мер, не только не устранявших причины кризиса, но напротив, создававших новые источники нестабильности. В результате, с одной стороны, МВФ, Мировой Банк и другие глобальные финансовые институты укрепляли контроль над мировой экономикой, но с другой стороны, им довольно скоро пришлось столкнуться с последствиями собственной политики. Подобно советским учреждениям времен Брежнева, они связали себя по рукам и ногам своей идеологией и уже не могут преодолеть инерцию собственной структуры.

В 1990-е годы кредиты МВФ и Мирового Банка, предоставлявшиеся России, шли не на развитие производства или не социальные нужды, а на поддержание избранного курса «финансовой стабилизации». Блистательным итогом этого курса стал крах рубля и развал банковской системы в 1998 году. Только после этого российское руководство вынуждено было признать, что кризис носит «структурный характер». На самом деле, кризис даже не структурный, а системный.

К концу десятилетия неолиберальный курс был в большей или меньшей мере дискредитирован в большинстве стран Восточной Европы. Правящие круги вынуждены были в срочном порядке менять риторику, а в некоторых случаях предпринимались даже робкие попытки корректировки курса. Однако радикальных перемен не произошло. В России после дефолта либеральная риторика сменилась рассуждениями о роли государства, но это отнюдь не означало изменения роли этого государства в экономике. Правительство Евгения Примакова, сформированное на фоне острого финансового кризиса, просуществовав всего несколько месяцев, сумело стабилизировать ситуацию, действуя совершенно вразрез с требованиями неолиберальной ортодоксии. Сделав свое дело, приведя экономику в порядок и добившись возобновления экономического роста, кабинет Примакова был вынужден уйти.⁴³

«Розовое» правительство не решилось ни бороться за власть, ни использовать ее для попытки структурных реформ. Обладая в начале 1999 года определенной свободой рук, оно не решилось даже заикнуться о национализации «естественных монополистов», чего желало (судя по опросам) большинство населения. Серьезных перемен не принесло в этом отношении и президентство Путина. В 2003—2005 году Кремль объявил о «войне с олигархами», после чего государственная компания «Роснефть» сумела забрать в свою собственность нефтяную компанию ЮКОС, но руководствовались власти отнюдь не экономическими, а политическими соображениями и отчасти корыстными личными интересами. Сами власти постоянно подчеркивали, что экспроприация ЮКОСа проводилась исключительно рыночными методами. Показательна реакция Российского бизнес-сообщества на слухи о дальнейшем расширении государственного сектора. Вместо того чтобы паниковать и протестовать, лидеры бизнеса выразили готовность продавать свои активы. Если, писала газета Российского бизнеса «ведомости», принадлежащие правительству компании начнут скупать акции, «предпринимателям это может быть на руку: если суммы сделок будут справедливыми, олигархи заработают миллиарды».⁴⁴

⁴³ Подробнее о политике Евгения Примакова в течение 8 месяцев «розового правительства» см.: Кагарлицкий Б. Управляемая демократия. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005.

⁴⁴ Ведомости. 5.09.2005.

Крах рубля в августе 1998 года все-таки заставил руководство России применить некоторые методы государственного регулирования, но повысившиеся цены на нефть и начавшийся экономический рост позволили власти вернуться к привычным либеральным рецептам. Москва стала активно готовиться к вступлению в ВТО⁴⁵. В рамках этого процесса был подготовлен и очередной пакет «непопулярных мер» – знаменитая «монетизация льгот», спровоцировавшая волнения пенсионеров; реформа образования, превращающая знания в товар для избранных; жилищно-коммунальная реформа, направленная на коммерциализацию этого сектора и т. д.

Пока правительственные чиновники вели переговоры о вступлении России в ВТО, граждане весьма смутно представляли себе, о чем идет речь. Как отмечала зимой 2007 года социолог Елена Рыковцева, для подавляющей массы жителей России и сама организация, и условия вступления в нее «являются совершенной загадкой». Приняв решение, правительство «поставило народ перед свершившимся фактом», хотя «большинство Россиян ничего хорошего от ВТО не ждет».⁴⁶

Тем временем окрепший отечественный бизнес приступил к экспансии на внешние рынки. Российские корпорации сами стали транснациональными, разворачивая свою деятельность не только на территории бывшего Советского Союза, но и в Африке, Латинской Америке, а также в Западной Европе, Канаде, США и Турции. «Газпром», «Норильский никель», «Лукойл» и другие гиганты Российского бизнеса вошли в список мировых корпораций. В 2007 году Россия, как сообщала газета «ведомости», заняла «третье место в мире по накопленному объему исходящих из страны прямых иностранных инвестиций». За один только предшествующий год российский бизнес инвестировал за рубеж более \$120 млрд. В 2006 году по подсчетам аналитиков, «российские компании купили иностранных активов на \$10,27 млрд., в то время как иностранцы в России купили активов на \$4,71 млрд.»⁴⁷. Одновременно российские компании стали массово выставлять свои акции на лондонской и других западных биржах. Объем торгов по русским акциям в Лондоне составил в 2005 году 130 миллиардов фунтов стерлингов, а в 2006 достиг уже 170 миллиардов. К началу 2007 года был достигнут очередной рекорд, биржевые аналитики говорили про «беспрецедентное число русских компаний, зарегистрировавшихся на западных биржах»⁴⁸. Глобализация Российского капитализма шла полным ходом.

Все это происходило на фоне катастрофического дефицита инвестиций внутри страны, которой, по мнению журналистов из «ведомостей», остро необходим был «разворот инвестиционных рек»⁴⁹. Таким образом, даже благоприятная конъюнктура и повышение статуса Российского капитализма в глобальной системе не изменили ситуацию на структурном уровне.

Национально озабоченные мыслители, обретшие новую уверенность в себе благодаря всеобщему разочарованию в либеральных идеях, склонны были объяснять экономические неурядицы происками Запада. Потому предлагаемые ими рецепты реформ сводились к укреплению отечественных корпораций в противовес иностранным, и к продолжению той же самой политики, но уже руками чистокровных славянских бизнесменов. Однако именно российские корпорации наиболее активно вывозили средства за рубеж, в то время как значительная часть роста производства для внутреннего рынка осуществлялась за счет ино-

⁴⁵ Официально договоренности о вступлении России в ВТО были достигнуты к осени 2006 года, но процесс продолжал тормозиться из-за политических споров с Молдавией и Грузией.

⁴⁶ Russia Profile, Jan. – Feb. 2007, v. I V, Nr. 1. P. 48.

⁴⁷ Ведомости. 6.02.2007.

⁴⁸ Russia Profile, Jan. – Feb. 2007, v. I V, Nr. 1. P. 16

⁴⁹ Ведомости. 6.02.2007.

странных инвестиций. В России начало бурно развиваться автомобилестроение, создавались заводы по производству бытовой электроники, строились предприятия пищевой промышленности. Естественно, создавая сборочные производства в России, международные корпорации, такие, как «Форд», «Фольксваген», «Хенде» или BMW, заботились не о развитии страны, а о закреплении своей доли растущего за счет нефтедолларов потребительского рынка. Но именно они способствовали не только оживлению индустриального производства, но и росту рабочего движения, которое очень быстро заявило о себе забастовками и акциями протеста.

По мере того, как росли финансовые ресурсы российских корпораций, увеличивались и их аппетиты, что не могло не влиять и на позицию государства, честно и добросовестно их обслуживавшего. Если «непослушные» олигархи, подобные Борису Березовскому, Владимиру Гусинскому и Михаилу Ходорковскому были наказаны, то корпорации, тесно сотрудничавшие с кремлевской бюрократией, были вознаграждены. В своем стремлении во что бы то ни стоило повысить прибыли и капитализацию отечественных нефтегазовых компаний, Кремль пошел на конфликт не только с прозападными властями Украины, но и с Белоруссией, остававшейся практически единственным надежным союзником России на протяжении 1990-х годов. Резко повысив цены на поставки газа в Белоруссию, «Газпром», при полной поддержке Кремля, спровоцировал в 2007 году торговую войну между двумя странами. Прибыли оказались важнее славянского братства.

Рост влияния России в ее традиционной сфере экономики, возможно, был неожиданностью для некоторых политиков на Западе, но представлял собой вполне закономерное явление. Россия президента Путина заняла в капиталистической миросистеме то же место «периферийной империи», которое в XVIII—XIX веках занимало петербургское государство династии Романовых.⁵⁰

Патрик Бонд применительно к Южной Африке говорит о «субимпериализме»⁵¹. Особенность субимпериализма состоит в том, что, обретая некоторые черты империалистического, подобное государство по многим параметрам остается глубоко отсталым и сохраняет черты «периферийности» по отношению к центрам мирового капитализма. Несмотря на военную мощь и идеологическое влияние, нарастить которые куда легче, нежели развить экономику, подобное субимпериалистическое государство не может обходиться без тесного сотрудничества с «настоящим» империализмом, даже тогда, когда кичится своим величием и своими реальными или мнимыми успехами.

Промышленный подъем, наблюдавшийся в России к середине 2000-х годов, во многом воспроизводил черты аналогичного подъема 1890-х годов, подготовившего условия для революции 1905 года. Можно сказать, что к началу XXI века Россия опять, как и в начале XX века, оказалась своего рода «слабым звеном мирового капитализма». Русская душа, мистический «коллективизм» и прочие национальные особенности не имеют к этому никакого отношения. Наша страна заняла определенное место в мировой системе, и любой кризис, разворачивающийся здесь, может стать прелюдией к глобальным потрясениям.

⁵⁰ Подробнее см.: Кагарлицкий Б. Периферийная империя. М: Ультра. Культура, 2003.

⁵¹ См.: Bond P. Op. cit. P. 111.

Финансовый капитал

Важнейшим механизмом поддержания контроля «центра» над «периферией» в мировой системе является долговая зависимость. В России пик зависимости от международных финансовых институтов пришелся на конец 1990-х годов, после чего отечественный бизнес сам вышел на мировые рынки.

В рамках западной экономики происходит бурное перераспределение ресурсов, от которого выигрывает, прежде всего, финансовый капитал. Чем больше его автономия, тем менее конструктивным является его взаимодействие с промышленным капиталом. Исторически инвестиционные банки и биржи были необходимы для перераспределения финансовых потоков между отраслями. Они не только обеспечивают стихийное перераспределение (и доступ) к инвестиционным ресурсам, но и подают бизнесу необходимые сигналы. Биржа – это своего рода оракул, сообщающий нам волю рынка, место, где мы можем время от времени видеть, куда указывает «невидимая рука». Но, как и все жрецы, представители финансовых институтов имеют и собственные специфические интересы. Чем они сильнее, тем менее адекватны биржевые сигналы. Информационно-денежные потоки уже не ориентируют, а дезориентируют бизнес. К концу 1990-х годов самым выгодным вложением капитала стала скупка акций компаний, занимающихся скупкой акций компаний, занимающихся скупкой акций компаний. А долги, накопленные в финансовом секторе, превосходят, в конечном счете, бюджетные дефициты государств.

Каждый очередной крах сопровождается спасительными акциями – за счет налогоплательщика или за счет других, более стабильных компаний, которые готовы пожертвовать своими средствами во имя стабильности. Примером может быть крах инвестиционного фонда LTCM (Long-Term Capital Management) в США, происходивший параллельно с русским дефолтом. Его долги превосходили долги России в несколько раз. Спасительная акция была оплачена консорциумом западных банков, естественно, без всяких консультаций с вкладчиками. Еще раньше администрация Рейгана была вынуждена потратить деньги на компенсацию потерь, вызванных крахом компаний системы Savings and Loan. По подсчетам экспертов, «налогоплательщику это обошлось не менее чем в 1,4 триллиона долларов»⁵². Уолден Белло отмечает, что в конце 1990-х годов очередные неурядицы на биржах «привели к потере инвесторами на Уолл-стрит 4,6 триллиона долларов», суммы, которая «составляла половину валового внутреннего продукта США и в четыре раза превосходила потери, понесенные биржей во время краха 1987 года».⁵³

Хотя именно Соединенные Штаты лидируют по количеству финансовых скандалов, их масштабам и затратам общественных денег на последующие «операции спасения» (bailing out), аналогичные события происходят и в других странах. Патрик Бонд отмечает, что «японские власти регулярно и эффективно вытаскивают свои банки из трудностей»⁵⁴. А в России связь между частным капиталом и правительством и вовсе не является тайной.

Показательно, что буржуазные правительства, весьма скупые, когда речь заходит о расходах на социальные нужды, систематически и успешно борющиеся с дефицитом общественного сектора, неожиданно находят непомерные суммы денег, когда речь идет о спасении финансовых корпораций или о компенсации нанесенного ими ущерба. Однако, как отмечал английский исследователь Гарри Шатт, подобная щедрость отнюдь не делает спекулятивный капитал более умеренным и осторожным в своих операциях. «Эта спонсируе-

⁵² Shutt H. *The Decline of Capitalism. Can a Self-Regulated Profits System Survive?* Lnd. – N.Y.: Zed Books, 2005. P. 39.

⁵³ Bello W. *Deglobalization: Ideas for a New World Economy*. Lnd. – N.Y.: Zed Books, 2004. P. 15

⁵⁴ Bond P. *Op. cit.* P. 23.

мая государством рекапитализация финансового сектора, напротив, открывает дорогу для еще более безответственного поведения».⁵⁵

Разумеется, банкротства и финансовые крахи имеют место с тех пор, как существует капитализм. Однако никогда прежде частные ошибки и безответственность не вели к таким грандиозным (в абсолютных и относительных масштабах) потерям общественных денег. Это закономерно: по мере того, как увеличиваются масштабы и скорость финансовых спекуляций, нарастает и их дестабилизирующий эффект. Он действительно достигает такого уровня, что ни одно правительство не может игнорировать последствия финансовых провалов, не рискуя обрушить экономическую систему в целом. Но чем больше правительства осознают опасность, тем более безответственно действуют частные игроки, прекрасно понимающие: что бы они ни натворили, власти полностью или частично исправят нанесенный ими ущерб. Поведение финансовых спекулянтов становится похожим на поступки избалованных детей, за которыми родители привычно убирают битую посуду.

Возникает ситуация, когда прибыли приватизируются, а убытки социализируются. Эту формулу любил в бытность свою парламентским оратором повторять лидер немецкой Партии демократического социализма Грегор Гизи. Однако, оказавшись сам членом берлинского Сената (городского правительства), он вместе с социал-демократическими партнерами по коалиции точно так же, как и его буржуазные предшественники, поддерживал использование общественных денег для преодоления последствий банковского скандала, вызванного коррупцией в *Bankgesellschaft Berlin*.

Наряду с финансами спекулятивный бум захватывает и смежные сектора, в первую очередь рынок недвижимости. Это связано с тем, что жилье очень часто выступает залогом при получении займов, под его строительство и покупку берутся крупные и относительно надежные кредиты, оно является одним из самых массовых и необходимых товаров на рынке. Спрос на недвижимость обычно возрастает в периоды высокой инфляции, поскольку подобное вложение денег считается в таких обстоятельствах наиболее надежным. Однако после того как правительству удастся снизить темпы инфляции (а это одна из главных задач государства в соответствии с монетаристской теорией), рост цен на недвижимость не прекращается. Рынок недвижимости набирает собственную инерцию, продолжая как пылесосом вытягивать деньги из реального сектора экономики. Возникает гигантский «мыльный пузырь» (bubble) завышенных цен. Несмотря на то, что спрос на недвижимость стимулирует развитие строительного сектора, для всех остальных секторов экономики это оказывается гигантским бременем. К тому же строительство жилья для низших слоев общества становится совершенно невыгодным и фактически прекращается.

В 2005 году британский «Economist» признал, что «никогда ранее цены на жилье и недвижимость «ь не росли так быстро и в стольких странах одновременно»⁵⁶. Не осталась в стороне от этого процесса и Россия, где к концу 2006 году цены выросли до исторически рекордного уровня. Однако таким же образом цены росли в Европе, Азии и даже Африке. Рынок жилья в крупнейших мировых городах сам стал «глобальным». Прекрасным примером этого может быть резкий рост интереса западных спекулянтов к московской недвижимости. Несмотря на то, что среди иностранных инвесторов Москва по-прежнему считалась в середине 2000-х годов «самым рискованным городом», аналитики отмечали, что «с точки зрения перспектив развития российская столица занимает второе место, уступая только Стамбулу». По мнению международных спекулянтов недвижимостью, именно эти

⁵⁵ *ShuttH.Op. cit.* P. 39.

⁵⁶ См. *The Economist*, 16.06.2005.

два восточноевропейских мегаполиса являлись к началу XXI века «самыми перспективными городами для инвесторов».⁵⁷

То, что «мыльный пузырь» неизбежно рано или поздно лопнет, понимают все, но как и когда это произойдет, с чего начнется обвал, предсказать невозможно. С того момента, как становится ясно, что цены приближаются к пиковому уровню, на рынке воцаряется нервность, которая сама по себе провоцирует инвесторов и спекулянтов на неадекватные поступки.

С того момента, как процессы, происходящие на спекулятивных рынках, окончательно теряют связь с производством, очередной приступ кризиса становится неизбежен. Однако кризис капитализма сам по себе не равнозначен укреплению политического влияния левых. Чтобы воспользоваться объективными возможностями, ежедневно открывающимися для антисистемной оппозиции в буржуазном обществе, левое движение само должно достигнуть определенного уровня зрелости.

⁵⁷ Бизнес, 8.02.2007. С. 4.

Глава II

Труд и капитал

Новая мировая ситуация, сложившаяся на рубеже XX и XXI веков, поставила вопрос о появлении новых форм демократической и социальной оппозиции, противостоящей авторитарному коллективизму элит. Однако левые партии, выполнявшие эту роль на протяжении большей части XIX и XX веков, сами оказались в глубочайшем кризисе. Можно сказать, что новая модель политической жизни, исключая даже возможность серьезного обсуждения экономических и социальных основ общества, не только лишила политический плюрализм реального содержания, но и лишила левые партии их единственного *raison d'être*, смысла существования. Хотя, разумеется, лишь в той мере, в какой они сами приняли новые правила игры.

На протяжении большей части XX века социал-демократические и в некоторых странах коммунистические партии были своеобразным «домом» для рабочего класса. Поколение за поколением рабочие сохраняли связь с ними, вступали в их ряды, поддерживали их, голосовали за них, обращались к ним за помощью. В странах Северной Европы партийные и профсоюзные здания были не просто местом, где сидели штатные сотрудники аппарата, но и реальной «точкой сбора» для представителей класса, местом, где люди нередко проводили свой досуг, обсуждали личные проблемы, встречались с друзьями.

К концу XX века эта связь между классом и «его» организациями рушилась на глазах. Культура рабочих становилась менее коллективистской, новое поколение нередко предпочитало индивидуальное потребление классовой солидарности. Численность «синих воротничков» сокращалась. А партийные политтехнологи сосредотачивались на погоне за голосами «среднего класса», предпочитая общаться с избирателями и сторонниками через экраны телевизоров.

Наемный труд

Стремительное сокращение рабочих мест в промышленности развитых стран стало исходной точкой для социологических теорий о «конце пролетариата» и даже «конце работы» (the end of work). Американский социолог Джереми Рифкин уверенно заявил в середине 90-х годов XX века, что мы находимся «на пути к экономике без работы»⁵⁸. Правда, еще за десятилетие до него французский марксист Андре Горц объявил о конце пролетариата.⁵⁹

Интерес левых к новым социальными перспективам, связанным с изменившимися технологиями, был вызван не только упадком промышленности. Не меньшую роль играло и разочарование интеллектуалов в исторической миссии рабочего класса. Неправда, писал в 1996 году Оскар Негт, будто Маркс недооценил жизнеспособность капитализма: он лишь «переоценил способность рабочего класса покончить с капитализмом раньше, чем тот примет варварские формы»⁶⁰. Идеологи немецкой Партии демократического социализма братья Андре и Михаэль Бри доказывали, что «рабочий класс нигде не проявил себя политически за последние десятилетия».⁶¹

Скептицизм относительно возможностей рабочего класса был естественным результатом поражений 1980-х и 1990-х годов. Эти поражения, начавшиеся с неудачных забастовок в Англии, повторялись снова и снова в разных частях Европы и Северной Америки. Это были поражения не только для конкретных деятелей, партий и профсоюзов, но и для традиционной «классовой политики». Традиционные методы мобилизации не срабатывали, люди теряли веру в себя и доверие к своим лидерам. Проигранные забастовки завершались массовыми увольнениями, после которых прежняя численность рабочих в пострадавших секторах уже не восстанавливалась.

Между тем в течение примерно десяти лет сторонники и противники концепций «конца пролетариата» повторяли одни и те же аргументы и контраргументы, а дискуссия топталась на месте. Дело в том, что в 90-е годы XX века, несмотря на грандиозные технологические изменения (а отчасти и благодаря им), мы не только не приблизились к «постиндустриальному обществу», но напротив показали всю абстрактность этой теории. Технология не существует сама по себе, она может развиваться только в обществе. Само по себе распространение компьютеров, мобильных телефонов и Интернета так же не делает общество «постиндустриальным», как внедрение первых паровых машин было недостаточным в конце XVIII века, чтобы радикально изменить образ жизни Европы. Потребовалась Французская революция, Наполеоновские войны и еще множество больших и малых событий, которые подготовили индустриализацию Британии, а потом и других стран.

Технологические прорывы всегда были необходимы капиталистической системе как средство давления на работников. Резкое повышение технологического уровня производства почти неизбежно приводило к обесцениванию рабочей силы и росту безработицы. Но это, в свою очередь, делало человеческий труд более выгодным для предпринимателей, а потому резко снижало стимул к дальнейшим технологическим новациям: на определенном этапе даже очень совершенные машины начинают проигрывать конкуренцию с очень дешевым работником.

Статистика показывает, что современная безработица имеет не чисто технологические, а именно социально-экономические и, в некотором смысле, «геополитические» при-

⁵⁸ Riffin J. *The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*. N. Y., 1995. P. 292.

⁵⁹ См.: A. Gorzin: *Afer the Fall* / Ed. by R. Blackburn. Lnd. – N. Y., 1992.

⁶⁰ O. Negt in P. Ingrao. R. Rossanda. u.a. *Verabredungen zun Jahrhundertende*. S. 259.

⁶¹ PDS Pressedienst. 1995. № 28.

чины. Объяснять массовые увольнения рабочих стремительным ростом производительности труда, вызванным новыми технологиями, невозможно. Американские экономисты отмечают, что в период технологической революции 1990-х годов производительность труда в США (если взять хозяйство в целом) росла даже медленнее, чем в 1950—1960-е годы⁶². Одновременно возросла незащищенность рабочих мест. В полном соответствии с классической марксистской теорией, рост резервной армии труда создает дополнительное давление на рабочих, понижая стоимость рабочей силы. В итоге средняя заработная плата с 1979 по 1995 год сократилась (с учетом инфляции) на 3%.

Не технология предопределяет эволюцию экономики, а напротив, потребности экономики диктуют необходимость внедрения новых технологических методов. Разумеется, технологические изменения не могут не требовать, в свою очередь, новой организации труда. Но и тут перемены имеют совершенно иной смысл, чем предполагают теоретики «постиндустриального общества». Организация труда зависит не только от технологии, но и от соотношения сил на предприятии между трудом и капиталом. Стремление крупных корпораций избежать концентрации рабочих на крупных заводах вполне понятно. Чем больше рабочих сосредоточено в одном цеху и на одной фабрике, тем больше сила профсоюза. Современные методы организации производства – «lean production», «reengineering» и «outsourcing» – ориентированы не на то, чтобы вытеснить традиционного работника, а на то, чтобы лучше контролировать его и заставить работать более интенсивно. Одновременно коллективный договор стараются заменить индивидуальным контрактом, разобщая работников и противопоставляя их друг другу.

Все это говорит не об исчезновении рабочего класса, а скорее о реструктурировании системы наемного труда и одновременном усилении его эксплуатации.

⁶² См.: New York Times, 2.3.1996, p. 1, 26.

Технологическая аристократия

Корпоративная элита не скрывает, что постоянная угроза безработицы помогает повысить производительность труда. В то же время «Нью-Йорк таймс» признает, что работники часто становятся менее «лояльными» по отношению к фирме. Снижение зарплат и угроза безработицы вызывает и новую волну политизации. Отмечая растущую эксплуатацию традиционных работников – как «синих» так и «белых воротничков» – экономисты обратили внимание на то, что в рамках крупных корпораций возникает новый слой «технологической аристократии», отчасти занимающей то же место, что и «рабочая аристократия» начала XX века. В новой технологической реальности оказывается важно не столько знание машины, сколько индивидуальный талант работника. Как отмечает Фред Блок, модернизация производства и роботизация приводит к «растущей потребности в работниках, способных думать концептуально». В отраслях, где применение промышленных роботов становится массовым, каждое второе создаваемое рабочее место «потребуется два и больше года обучения в колледже»⁶³. Экономисты отмечают, что новые технологии и сопутствующая им организация труда затрудняют управление. Это также ограничивает возможности для сверхэксплуатации. Саймон Хед констатирует: «Потребность в знаниях технологической аристократии возрастает по мере того, как для корпорации усиливается опасность отстать в технологической гонке. Но поскольку людей с такими знаниями и способностями не так легко найти, их будет постоянно не хватать, и их заработная плата будет расти».⁶⁴

Проблема представляется многим экономистам чисто организационной. Между тем речь идет о серьезном вызове самой системе капиталистического управления. Эффективное использование возможностей работника оказывается невозможно без серьезного перераспределения власти на предприятии. Фред Блок сравнивает новую ситуацию с порядками, царившими на доиндустриальных ремесленных предприятиях. Инструмент всюду одинаков, но производство и продукт получаются совершенно разные. Решающую роль здесь играют не сами применяемые технологии, а подход работника. Подобные процессы могут вновь усилить позиции трудящихся по отношению к предпринимателям. Чем более индивидуализируется процесс труда, тем сложнее найти замену. Работник, обладавший уникальными способностями, был «защищен от традиционных форм принуждения».⁶⁵

Зачастую сами работники и их организации еще не осознали всех возникающих в связи с этим преимуществ, не сумели объединиться таким образом, чтобы эти преимущества в полной мере использовать. Однако уже начало 2000 годов показало нарастающий конфликт между новой технологической элитой и корпорациями. Причем речь идет не столько о борьбе за заработную плату, сколько о борьбе за власть, за доступ к принятию решений.⁶⁶

Оценивая перспективы новой технологической элиты, известный радикальный политолог Александр Тарасов утверждает, что Маркс поспешил, идентифицировав антикапиталистическую революцию с индустриальными рабочими, ибо «революционный субъект должен появиться, как бы сейчас сказали, вне Системы»⁶⁷. Индустриальные рабочие не могут вырваться за пределы логики капиталистической фабрики. Не крестьяне взорвали феодализм, а буржуазия, которая, будучи ущемленной, все же не была непосредственным объек-

⁶³ Block F. Postindustrial Possibilities. Berkeley, Los Angeles & Oxford, 1989. P. 102.

⁶⁴ Monthly Review. 1996. July-August. V. 48. № 3. P. 103.

⁶⁵ Block F., op. cit. P. 83.

⁶⁶ Подробнее см.: Кагарлицкий Б. Восстание среднего класса. М: Ультра. Культура, 2003; Кагарлицкий Б. Марксизм: не рекомендовано для обучения. М.: алгоритм – ЭКСМО, 2006.

⁶⁷ Свободная мысль. 1996. № 12. С. 91.

том эксплуатации в феодальном поместье. Точно так же антикапиталистическая революция совершится тогда, когда новая технологическая элита, порожденная капитализм, постарается избавиться от буржуазии.

Постиндустриальные работники находятся одновременно и вне системы, и внутри ее. С одной стороны, «способ производства, основанный на знании, оказывается таким... при котором возможно преодолеть отчуждение. Знание неотчуждаемо от его создателя и носителя. Он контролирует весь процесс “производства” знания». А с другой стороны, массу производителей знания «капитализм постоянно будет пытаться превратить в класс наемных работников умственного труда»⁶⁸. Собственники капитала будут пытаться установить контроль над творческим процессом, а это неизбежно вызывает сопротивление. Использование традиционных капиталистических методов контроля за работником внутри фирмы затруднено тем, что компьютер разрушает грань между трудом и отдыхом, свободным и рабочим временем, являясь одновременно средством и производства и развлечения. Некоторые «серьезные» программы включают в себя игровые элементы и т. д. «Кража» рабочего времени становится самым распространенным, но и самым труднодоказуемым преступлением офисного работника. Некоторые компании прибегают для борьбы со своими сотрудниками к разветвленной системе электронной слежки, но это редко дает ожидаемые плоды.

Специалист по компьютерным технологиям Юрий Затуливетер также приходит к выводу о том, что задачи технологического развития толкают людей, их решающих, на радикальные позиции. «Главная компьютерная задача», как выясняется, состоит не в создании более совершенных программ, а в преобразовании общества⁶⁹. Между тем к 1990-м годам технологическая элита не продемонстрировала особого революционного потенциала. Она вообще не воспринимает себя как самостоятельную социальную и политическую силу. Скорее, она стремится использовать свои преимущества в торге с предпринимателями (то, что по-английски называется *bargaining position*). Однако отсюда не следует, будто так будет всегда. Западная буржуазия тоже не сразу стала революционной контрэлитой. На первых порах она прекрасно уживалась с феодальными верхами и поддерживала укрепление абсолютистского государства, с которым ей пришлось позднее бороться.

Способность социального слоя к общественным преобразованиям зависит не только от его статуса в обществе, но и от его идеологии, от уровня политической и профсоюзной организации. Слабость самосознания новых трудовых слоев в значительной мере – результат слабой работы левых с этими слоями. Конечно, классовое сознание не заносится трудящимся «извне», как полагал Ленин в работе «Что делать?». Но оно и не возникает стихийно, само собой. Новаторская идеология является результатом исторической «встречи» радикальной интеллигенции с массовым социальным слоем, испытывающим потребность в новых идеях. Пока что подобная встреча не состоялась.

По мере развития новых отраслей, положение сосредоточенной в них технологической аристократии становится все более уязвимым. Чем больше распространяются новые профессии, тем менее привилегированным является статус их носителей. Технологическая революция конца XX века развивается по той же логике, что и индустриальная революция XVIII—XIX веков. Это относится не только к производству компьютеров и современной

⁶⁸ Там же. С. 92, 93. Показательно, что противоречие между потребностями капитала и творчества взрывает даже преуспевающие фирмы. Так, в 1996 году возникли кризисы, в результате которых лучшие разработчики компьютерных игр были вынуждены покинуть ими же созданные компании (см.: Hard’n’Sof. 1996. № 6 и др.)

⁶⁹ «Свободная мысль». 1996. № 7. С. 128. «альтернативы». Зима 1996/ 97, № 4. С. 99—100. Более подробно Затуливетер Ю. С. изложил свои мысли в работе «Информационная природа социальных перемен». По мнению Затуливетера, глобализация и информационная революция неминуемо породят «одно или несколько десятилетий второй великой или Глобальной депрессии» (Затуливетер Ю.С. Информационная природа социальных перемен. М.: СИНТЕГ, 2001. С. 19). В свою очередь, выход из депрессии невозможен без радикальных социальных преобразований, отражающих новые общественные потребности и отношения, сложившиеся в период информационной революции.

техники, но и к самой «интеллектуальной продукции». Потребность фирм, производящих программное обеспечение (software), в повышении производительности труда приводит к тем же процессам, что и в традиционных отраслях. «в отличие от индустриальных форм проектирования и изготовления аппаратных средств, производство программ задержалось в фазе артельного (ремесленного) труда, в которой преобладание человеческого фактора ставит объемы производства в прямую зависимость от количества привлеченных лиц достаточной квалификации, — отмечает Затуливетер. — Нетрудно видеть, что благодаря массовой компьютеризации почти весь интеллектуальный ресурс уже задействован. Практически все способные программировать уже программируют. Это обстоятельство крайне обостряет проблемы наращивания объемов производства программ с помощью технологий программирования, ориентированных на человеческий фактор. Разрешение этой ситуации приведет к распаду артельных (экстенсивных) и установлению индустриальных (интенсивных) форм производства программного продукта, когда объемы производства будут наращиваться главным образом за счет увеличения производительности труда».⁷⁰

Происходит концентрация производства, сосредоточение все большего числа программистов в составе одной фирмы. В свою очередь, в их среде усиливается потребность в самоорганизации, осознание своего зависимого и подчиненного положения. Усиливается и эксплуатация их труда. Нарастает сопротивление господству капитала. Все это поразительно похоже на процессы, описанные Марксом и его учениками применительно к индустриальному капитализму.

Та же тенденция оказывается обратимой к работе на дому. Безусловно, постоянно совершенствующиеся средства связи позволяют организовывать работу большого числа людей на расстоянии. Но собирать их вместе все равно оказывается проще и дешевле, особенно когда речь идет о многочисленных коллективах. Торжествует смешанный подход, самый неприятный для работника: фирма требует от него присутствия на рабочем месте, но не оставляет в покое и дома.

По мере того, как новые технологии становятся все более массовыми и увеличивается число специалистов, способных ими пользоваться, давление на работников современного сектора усиливается. Логика капитализма требует распространения на них традиционной фабричной «дисциплины». И все же замена одного специалиста на другого остается относительно сложным делом, выполняемая работа все более индивидуальна, а на подготовку работника требуется время. Новый тип работника более способен к сопротивлению (в том числе и индивидуальному), а также к самоуправлению. Чем большим будет давление на него, тем быстрее произойдет осознание им своей роли в обществе, противоречий между собственными интересами и логикой развития капитала.

⁷⁰ Hard'n'Sof. 1996, № 2. С. 93.

«Синие воротнички»

Первая волна технологической революции ударила по «синим воротничкам». В середине 80-х годов все авторы дружно отмечали резкое сокращение удельного веса промышленности в общей структуре занятости. Так, в Соединенных Штатах в промышленности к концу 1980-х оставалось не более 17% рабочей силы, значительно меньше, чем в сфере услуг. В Британии 1970-х годов на угольных шахтах работало более миллиона человек. К началу XXI века число шахт и занятых там людей резко сократилось. Зато в одной лишь сети супермаркетов Tesco's использует более чем 250 тысяч сотрудников⁷¹. Аналогичные тенденции наблюдались и в других развитых капиталистических странах, за исключением, быть может, Японии.⁷²

Впрочем, тот факт, что именно в Японии, являвшейся в 70—80-е годы XX века технологическим лидером капиталистического мира, сокращение занятости в промышленности было меньшим и происходило гораздо медленнее, чем в других странах, говорит о том, что рано рассуждать о «конце пролетариата». Если в период бесспорного господства США в мировой экономике доля промышленных рабочих была там существенно выше, нежели в Японии, то к середине 1990-х в промышленности был занят значительно больший процент японцев, чем Американцев. Стремительный экономический подъем Южной Кореи также сопровождался ростом численности и удельного веса промышленного пролетариата в обществе. Рост традиционной промышленности наблюдался не только в Южной Корее, но и в Китае, а также в новых индустриальных странах восточной Азии, в значительной мере следующих южнокорейской модели.

Прогнозы непрерывного сокращения роли промышленности в западных обществах тоже не подтверждаются. Вообще, подобные процессы не могут быть линейными. Авторы, пытающиеся экстраполировать сегодняшние тенденции на 20—30 лет вперед, доказывают лишь свою методологическую несостоятельность. Совершенно очевидно, что сокращение удельного веса промышленных рабочих в обществе зависит не только и не столько от «объективных» законов технологического развития, сколько от действующих экономических и социальных механизмов. Промышленная занятость действительно сокращается, но в еще большей степени она реструктурируется.

В середине 1990-х все больше рабочих мест сокращается для «белых воротничков». Автоматизация банков и предприятий сферы услуг приводит к тому, что требуется все меньше клерков и больше техников и операторов, выполняющих, по сути, те же функции, что их коллеги в промышленности. Как отмечают исследователи, миф о превращении сферы услуг в главную движущую силу экономического роста был основан в значительной степени на ее технологическом отставании от промышленности. В то время как в промышленности сокращались рабочие места за счет стремительного внедрения новых технологий, производительность «белых воротничков» возрастала незначительно, а порой даже падала. Затем начинается внедрение трудосберегающего оборудования в сфере услуг. Соотношение между промышленностью и сферой услуг очередной раз меняется, на сей раз — опять в пользу промышленности.

В традиционной промышленности, где первая волна технологической революции миновала к началу 1990-х, уже не наблюдается такое резкое сокращение рабочих мест, как

⁷¹ См. International Socialism, 2007, Nr. 113.

⁷² См.: Иноземцев В.Л. К теории постэкономической общественной формации. М., 1995. С. 222; Workers in Tird World Industrialization/ Ed. by Inga Branded. L., 1991. P. 2; Korea Times, Apr. 30. 1986.

в 1980-е. Производство все более рассредоточено, но без «синих воротничков» обойтись невозможно.

Английский социолог Мартин Смит, анализируя изменения, произошедшие в структуре занятости Великобритании, приходит к неожиданному выводу: сокращение численности «синих воротничков» может обернуться ростом их политического влияния. По его словам, «из каждых семи человек, работающих в Британии по найму, один занят в обрабатывающей промышленности. Эти рабочие часто находятся на крупных предприятиях с сильными профсоюзами, в машиностроении, автомобилестроении и пищевой промышленности. Их число сократилось, но те, кто сохранил свои рабочие места, резко увеличили и производительность своего труда, что не может увеличить их роли в обществе»⁷³. Рабочий английского автомобилестроительного завода имеет производительность труда в начале XXI века в 8 раз большую, чем его предшественник 30 лет назад. В бумагоделательном производстве выпуск продукции одним работником вырос в три раза. Отсюда автор делает заключение: если они стали более производительны, значит, выросла и их мощь как класса.

Первый этап технологической революции в основных отраслях экономики к середине 90-х XX века завершается. Производительность труда и возможности оборудования будут расти и дальше. Точно так же для потребителя будут изобретать все новые хитроумные игрушки вроде телевизоров с плоским экраном, мобильных телефонов с полифонией и встроенной фотокамерой или новой видеокарты, позволяющей сгружать порнографию прямо из Интернета. Но это уже эволюция, а не революция. Переход от «ручной» обработки данных к компьютерной означал полный переворот в организации труда. Переход от 386-го процессора к 486-му или к процессору Pentium означает лишь нормальный технический прогресс, такой же, как замена станков, происходившая на протяжении всей промышленной истории.⁷⁴

⁷³ International Socialism, 2007, Nr. 113. P. 53. Несмотря на то, что тезис Смита может оспариваться, он, безусловно, имеет под собой основание: сила класса не тождественна его численности. Ср. Кагарлицкий Б. Марксизм: не рекомендовано для обучения. М.: алгоритм – ЭКСМО, 2006. С. 312.

⁷⁴ По мнению немецкого социолога Иохима Бишофа (Joachim Bischof), на рубеже XX и XXI веков речь идет не об установлении нового, «постиндустриального», порядка, а лишь о «кризисе фордизма». Борьба идет за то, какой выход будет найден из этого кризиса (J. Bischof in: P. Ingrao, R. Rossanda u.a. Verabredungen zun Jahrhundertende. S. 210; Bischof J.. Restoration Oder Moder-nisierung? Entwicklungstendenzen des globales Kapitalismus. Hamburg, 1995).

«Белые воротнички»

Естественным следствием технологической революции в мировом масштабе является пролетаризация «свободных профессий» и возникновение «нового технологического пролетариата», занятого, зачастую, вне традиционной промышленности. Порой сами люди еще не вполне отдают себе отчет в своем действительном социальном статусе, тем более что их положение крайне противоречиво.

Легко заметить, что перемены конца XX века оказали дезорганизующее воздействие как на «традиционного», так и на «постиндустриального» работника. Первый потерял уверенность в себе, второй стремительно лишается своего привилегированного, «элитного» статуса. Отчуждение и ложное сознание являются вполне естественным результатом неудачных попыток людей приспособиться к новым условиям. Однако подобное состояние не может продолжаться бесконечно.

В мире труда действительно произошли серьезнейшие перемены по сравнению с эпохой Маркса. Но это не «исчезновение пролетариата», о котором писали модные социологи, и даже не замена традиционного промышленного рабочего новым типом наемного работника. Во времена Маркса мир труда был относительно однородным. Вот почему в «классических» текстах понятия «пролетарий» и «промышленный рабочий» становятся синонимами. Ленин, правда, говорил, про кухарку, которая должна научиться управлять государством, но вряд ли он при этом имел в виду растущее значение сферы услуг.

Фигура европейского промышленного рабочего была не просто ключевой, но и единственной достойной внимания для теоретиков классического марксизма. Этот рабочий класс составляли преимущественно белые мужчины, нерелигиозные, но воспитанные в традициях христианской культуры. Возникновение «колониального пролетариата» в начале века мало изменило общие представления о том, каким должен быть рабочий. Более того, в представителях коренного населения европейцы долгое время вообще не желали признавать «настоящих» рабочих. Со своей стороны, осваивая уроки классовой борьбы, рабочие-неевропейцы первоначально склонны были воспроизводить традиции, культуру и организационные формы западного рабочего движения. Сегодня ситуация совершенно иная. Уходит в прошлое не пролетариат, а классическое представление о нем.

Мир современного труда неоднороден, сложен, иерархичен. Причем степень сложности возрастает с каждым витком технологической революции. Сегодня в мире меньше рабочих-европейцев, чем неевропейцев, причем в самих западных странах стремительно растет число работников, представляющих народы «третьего мира». Женщин среди наемных работников почти столько же, сколько мужчин. Мусульман оказывается не меньше, нежели христиан. В зависимости от технологического уровня производства работники могут иметь совершенно разные условия жизни и труда, разные требования к воспроизводству своей рабочей силы.

Наконец, огромное значение для современной экономики имеет стремительный рост «неформального сектора». Миллионы людей, занятые в неформальной, а часто и нелегальной экономической деятельности, являются такой же необходимой частью мировой экономики, как и специалисты по компьютерам. Однако и здесь существуют существенные различия. В странах Латинской Америки или в Соединенных Штатах граница между формальной и неформальной экономикой более или менее очевидна. В неформальном секторе работают безработные, маргиналы. В странах бывшего Советского Союза эта граница размыта, и тем и другим занимаются одни и те же люди.

Социальное развитие становится таким же многослойным, как и экономическое. В модернизированном и традиционном секторе идут свои собственные, зачастую параллель-

ные процессы, возникает собственная социальная дифференциация, вырабатываются собственные идеологии и формы политической организации. Чем меньше регулирование рынка труда, чем слабее профсоюзы, тем острее подобные противоречия. Тенденция к выравниванию уровня заработной платы, возникающая в любом капиталистическом обществе, где сложилось сильное рабочее движение, оказывается и мощным стимулом для технологических инноваций, поскольку лишает предпринимателя возможности получать дополнительную прибыль за счет разницы в цене рабочей силы внутри отрасли. Однако между политическими и профсоюзными организациями трудящихся неизбежно возникают противоречия, порожденные неоднородностью мира труда. В 60-е и 70-е годы XX века это было характерно, прежде всего, для стран Латинской Америки с их многоукладной экономикой. В конце века те же тенденции наблюдаются и в Западной, и в Восточной Европе.

Столкнувшись с многообразием культур трудящихся и разнообразием форм эксплуатации, часть левых испытывала откровенное бессилие, не умея ни анализировать происходящее с помощью традиционных методов марксистской социологии, ни выработать что-то новое. На место конкретного и четкого описания социальных механизмов пришли морализаторские рассуждения о бедности и «исключении из общества» (exclusion), или наоборот, поэтические рассказы про общество «множеств» в книгах М. Хардта и А. Негри.⁷⁵

Между тем, с точки зрения классовых интересов наемного труда, совершенно неважно, где сосредоточена основная масса работников – в промышленности, сфере услуг или в научных учреждениях. Совершенно не принципиально, каков их цвет кожи, и каково их вероисповедание. Больше того, даже различия в оплате труда, играющие огромную роль в контроле капитала над работниками, не меняют классовой сущности эксплуатации.

Кстати, в сфере услуг уровень эксплуатации выше. Появление массы «дешевых» рабочих мест в этой сфере на фоне сокращения числа «дорогих» рабочих мест в промышленности США и ряда других стран говорит само за себя.

С другой стороны, несмотря на то, что с точки зрения классовой теории все эти различия являются второстепенными, они крайне важны с точки зрения идеологии и организации профсоюзного движения.

Противоречие между «традиционным» и «постиндустриальным» трудом на политическом уровне выражается в расколе между «старой» и «новой» левой. Причем «старые» левые деморализованы, поскольку утратили веру в будущее, а «новые» левые дезориентированы, так как не имеют четкой стратегии. Одержимые идеей «обновления», они, как правило, неспособны выработать политику и идеологию, которые бы обеспечили прочный союз с работниками «традиционного сектора». Поскольку массовые слои постиндустриальных работников находятся еще только в стадии становления, им самим свойственно ложное сознание, которое ретранслируется и закрепляется противоречивыми и путаными рассуждениями идеологов.

Как «новый» труд не может полностью вытеснить «старый», так и «новая» левая культура не имеет никаких шансов, если будет строиться на отрицании старой. Напротив, задача левых политиков и идеологов состоит в интеграции великой традиции рабочего движения и новых тенденций, все более очевидных на рубеже веков. Точно так же политическая и экономическая программа исторического социализма должна быть не отвергнута левыми движениями новой эпохи, а напротив, встроена в новый, более широкий и сложный контекст.

Если «постиндустриальное» общество, в том виде, как представляли его идеологи, оказалось химерой, то и традиционный индустриализм, безусловно, ушел в прошлое. Поздний капитализм одновременно и подтверждает важнейшие выводы и прогнозы Маркса, и создает

⁷⁵ См.: Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи (Multitude. War and Democracy in the Age of Empire). М.: Культурная революция, 2006.

новые факты, новые противоречия и новый социальный опыт, никак не отраженные в «классических» левых теориях.

Возвращение профсоюзов

Начиная с конца 1980-х годов, рабочее движение в западных странах переживало кризис. Прежде всего, это касалось самых массовых организаций – профсоюзов, которые быстро теряли членскую базу и влияние. К середине 1990-х кризис профсоюзов перекинулся на Латинскую Америку, Южную Африку и даже на некоторые страны Азии. Позиции трудящихся на рынке были ослаблены как изменившимся политическим раскладом сил, так и произошедшими технологическими сдвигами. Информационные технологии были вполне осознанно и успешно использованы предпринимателями, чтобы изменить правила игры на предприятиях. Появилась возможность рассредоточивать производства, переносить часть процессов в отдаленные страны с низкой ценой рабочей силы и запретом на забастовки, заменять организованных и хорошо оплачиваемых рабочих полурабским трудом в *maquiladoras* – временных сборочных цехах, возникающих и исчезающих за считанные недели.⁷⁶

Ослабление рабочих организаций не могло не сказываться на идеологии и психологии сопротивления. Идеология становилась все менее «классовой» и все более «этической». Когда в Мексике в середине 1990-х годов началось восстание сапатистов, ключевыми лозунгами были не «классовая борьба» и «пролетарская солидарность», а «достоинство» и «самоуважение».

Идеологическое крушение социализма в начале 1990-х не могло положить конец народным выступлениям: массовые протесты были порождены не агитацией, не идеологией, а социальным и национальным угнетением, бедственным положением людей. Однако в условиях идейного кризиса левых сил программа массовых народных движений стала размытой и неопределенной. Берясь за оружие или выходя на улицы, люди четко осознавали, против чего они сражаются, но им гораздо труднее было сформулировать, за что. «Гнев народа должен быть направлен в политическое русло посредством организованных политических сил», – говорилось в разгар борьбы за демократию в заявлении индонезийской Народно-демократической партии⁷⁷. В сущности, это может написать на своих знаменах любое серьезное левое движение.

Между тем к концу 1990-х вслед за возникновением новых массовых движений началось и восстановление влияния профсоюзов. Оно шло очень медленно, на каждом шагу наталкиваясь на новые трудности. Под занавес XX века профсоюзы стран Запада утратили большую часть позиций, завоеванных на протяжении столетия, сократились численно, бюрократизировались, потеряли значительную долю своего политического и культурного авторитета. Это было связано как с общим кризисом социал-демократических институтов, так и с развивавшейся на Западе деиндустриализацией. Количество рабочих мест в традиционной промышленности сокращалось, тогда как сфера услуг и основанная на информационных технологиях «новая экономика» с трудом поддавались синдикализации. Здесь невозможно было применить привычные методы профсоюзной работы, которые были типичны для крупных предприятий. А в сборочных цехах и на стройках местных рабочих все чаще заменяли мигранты, бесправные, запуганные, часто – нелегалы, не знающие ни языка, ни законов страны, в которой их эксплуатировали.

Между тем параллельно с деиндустриализацией западных стран происходил бурный рост промышленности «на периферии» мировой капиталистической системы. Строго

⁷⁶ Подробнее о технологических сдвигах и их влиянии на расстановку классовых сил в обществе см.: Кагарлицкий Б. Восстание среднего класса. М.: Ультра. Культура, 2003.

⁷⁷ Green Lef Weekly. 28.05.1997.

говоря, промышленные рабочие места не сокращались, а перемещались. К концу 1990-х это привело к росту рабочих профсоюзов в «новых индустриальных странах» Азии, а также в некоторых государствах Латинской Америки. Правда, в начале XXI века тенденции деиндустриализации докатились и сюда. Производство переносилось в Китай, где под бдительным оком «коммунистической» бюрократии рабочие должны были денно и нощно трудиться на иностранных капиталистов. Тем временем «хорошие» рабочие места стали исчезать даже в Мексике.

С другой стороны, деиндустриализация Запада имела объективные пределы. К началу 2000-х годов промышленность в основном стабилизировалась, а вместе с ней – рабочие места и профсоюзные организации. Вместе со стабилизацией промышленности началось и возрождение профсоюзов. Первым симптомом была успешная забастовка государственного сектора во Франции в 1995 году, за ней последовала смена руководства и радикализация профсоюзного движения в США. В ряды Американских профсоюзов вступили представители «компьютерного поколения», принесшие свежие идеи относительно классовой борьбы, организации и солидарности. Наконец, в профсоюзы стали вступать представители иммигрантов, национальных меньшинств, которые смогли связать западное рабочее движение с борьбой «третьего мира». Именно в таких условиях стало возможно сотрудничество профсоюзов с радикальными молодежными движениями, немыслимое, по крайней мере – в США, в 1960-е или 1970-е годы.

Британские профсоюзы заговорили о разрыве с предательским руководством Лейбористской партии, а в Соединенных Штатах перемены затронули неэффективную и консервативную структуру Американской федерации труда – Конгресса производственных профсоюзов (АФТ – КПП). К концу 1990-х годов, как отмечал Американский публицист Ким Муди, профсоюзы в США снова стали «похожи на движение». Наряду со скучными бюрократами в их рядах появились молодые люди, занятые организационной работой среди ранее «труднодоступных» категорий трудящихся – мигрантов, женщин, неквалифицированных работников. «Подобные перемены несколько лет назад даже невозможно было себе представить».⁷⁸

Ответом на кризис тред-юнионизма стало, с одной стороны, появление новых организационных форм, направленных на вовлечение в движение работников неформального сектора, иммигрантов, людей занятых неполный рабочий день, и т. д. А с другой стороны, к началу 2000-х годов профсоюзы осознали значение интернационализма не просто как идеологии, но и как принципа практической деятельности, все более ориентируясь на проведение международных кампаний в тесном сотрудничестве с неправительственными организациями и новыми социальными движениями. Эта новая стратегия дала о себе знать прежде всего в странах, где упадок профсоюзов до того был наиболее заметным, в частности в США. В Калифорнии профсоюзы провозгласили ориентацию на экологически чистые производства и «разумный рост». Как отмечает левый нью-йоркский еженедельник «The Nation», «между профсоюзами, экологическими движениями и иммигрантскими землячествами возникают новые союзы, увязывающие такие вопросы, как чистый воздух и экономическое развитие, положение дел в территориальных общинах, жилье, транспорт, рабочие места и техника безопасности на производстве».⁷⁹

Впрочем, попытки обновления привели к острому кризису, а затем и к расколу АФТ-КПП. Но, как резонно заметил на страницах «Green Lef Weekly» Ли Састар (Lee Sustar),

⁷⁸ Rising From the Ashes? Labor in the Age of «Global» Capitalism/ Ed. By E. Meiksins Wood, P. Meiksins and M. Yates. N.Y. Monthly Review Press, 1998. P. 57.

⁷⁹ The Nation, August 2000, v. 271, № 6. P. 26.

раскол, поразивший верхушечную бюрократию, давал низовым организациям «перспективу построить боеспособное профсоюзное движение».⁸⁰

Ожили и немецкие профсоюзы – что немедленно почувствовали на себе и работодатели, столкнувшиеся с очередной волной забастовок, и лидеры официальной Социал-демократической партии. Возникновение Левой партии было бы невозможно, если бы нижнее звено профсоюзной бюрократии не почувствовало уверенности в себе и – одновременно – давления со стороны своей членской базы, требовавшей более решительных действий.

В Азии тоже происходили перемены. Массовое профсоюзное движение показало свою силу в Индии, где рабочие организации имели давние традиции – еще с колониальных времен. Несмотря на возвращение к власти Индийского национального конгресса, обещавшего перемены, неолиберальная политика продолжалась. Профсоюзы ответили осенью 2005 года национальной забастовкой, которая, по признанию журнала «Newsweek», на сутки «остановила страну»⁸¹. Встали не только железные дороги и аэропорты, но и банки.

Рабочее движение пришло к началу XXI века существенно ослабленным и неоднородным, но оно оставалось серьезным фактором, с которым международный капитал не мог не считаться.

⁸⁰ Green Lef Weekly. 10.08.2005.

⁸¹ Newsweek. 10.10.2005. P. 48.

Миграция

Появление «колониального пролетариата» в начале XX века знаменовало важный культурный сдвиг в мире наемного труда, но куда более серьезные перемены произошли в последней трети XX столетия, когда массы мигрантов устремились на рынок труда Западной Европы.

Исторически массовая миграция не является чем-то новым для капитализма. В Соединенных Штатах рынок труда на протяжении всей истории страны пополнялся все новыми и новыми волнами иммигрантов. Сперва – из Англии, Ирландии и Германии, затем из Южной и Восточной Европы, потом из Пуэрто-Рико, Мексики и других стран Латинской Америки. В конце XX века в США хлынул поток иммигрантов из Азии. Следовавшие одна за другой волны иммиграции формировали Американскую нацию, однако далеко не сразу представители вновь прибывших групп смешивались с большинством населения, конфликты между общинами и развитие этнической преступности стали частью истории страны.

С точки зрения рабочего движения массовая иммиграция имела двойственный эффект. Ранние волны мигрантов, прибывавшие из Северной Европы, где уже сильны были левые партии и профсоюзы, принесли с собой свои классовые традиции, которые затем размывались новыми культурно-этническими волнами. Постоянное пополнение рабочего класса США новыми этническими контингентами принято считать одной из причин того, что в этой стране нет сильной левой партии, а профсоюзы значительно менее влиятельны, нежели в Западной Европе.

После второй мировой войны трудовая миграция стала обычным делом и в Европе. В эпоху классического капитализма единственной европейской страной, которая привлекала большие массы иностранных рабочих, была Британия (да и то, речь шла преимущественно о Лондоне и портовых городах)⁸². Но в 1950-60 годы ситуация начала резко меняться. Массы трудовых мигрантов начали перемещаться из одной европейской страны в другую. Испанские и итальянские рабочие появились во Франции, Германии и Швейцарии. За ними следовали югославы и турки, а затем миллионы выходцев из бывших колоний. Политика привлечения иностранной рабочей силы проводилась совершенно сознательно. Так, например, в конце 1960-х годов, когда в Британии чувствовался недостаток медицинских кадров, началось организованное рекрутирование специалистов в Индии. К началу 1990-х годов страны, ранее отправлявшие эмигрантов за рубеж, сами стали привлекать иностранных рабочих. Первоначально это случилось в Италии и Испании, а к началу XXI века – в Ирландии.

Мигранты должны были занять низшие позиции на рынке наемного труда, снизить остроту социальных и демографических проблем, одновременно позволяя правящему классу и государству замещать непривлекательные рабочие места без повышения заработка и статуса их работников. Постепенно приток иностранных рабочих стал оказывать возрастающее давление на рынок труда. Но ситуация радикально изменилась в конце 1980-х и на протяжении 1990-х годов. В этот момент были одновременно подорваны позиции профсоюзов, начались масштабные технологические и организационные перемены, промышленные предприятия выводились в страны Азии и Латинской Америки, а на европейском рынке труда открывались миллионы низкооплачиваемых и незащищенных рабочих мест, в значительной мере заполнявшихся иностранцами. Поощрение миграции явно стало частью общей неолиберальной стратегии, направленной на подрыв рабочего движения и изменение соотношения сил в обществе. Классовое противостояние должно было смениться этническими

⁸² Подробная история мусульманских рабочих общин Британии дана в статье Mohamdallie H. Muslim working class struggles. *International Socialism*, 2007, Nr. 113.

конфликтами, которые (в отличие от противоборства труда и капитала) не имеют решения. Солидарность трудящихся должна была смениться разобщенностью обездоленных «множеств».

Поток иммигрантов из «освободившейся от коммунизма» Восточной Европы дополнился новыми волнами беженцев из Азии и Африки, спасающихся от войн и экономической разрухи, последовавших за неолиберальными экспериментами МВФ и Мирового Банка. В скором времени внутренняя миграция – по той же экономической логике – охватила саму восточную Европу. Массы украинских, молдавских и таджикских рабочих потянулись на заработки в нефтеносную Россию. Даже в Африке миграция начала набирать темпы: жители Сомали и Конго стали переселяться в относительно благополучные государства – Кению, Южную Африку. В Азии нефть Саудовской Аравии и соседних с ней эмиратов привлекла массы рабочих из более бедных арабских стран и Пакистана.

Выводя производство за пределы «цивилизованных стран», заменяя кадровых рабочих мигрантами, правящие классы, начиная с конца 1970-х годов, действительно сумели подорвать позиции организованного рабочего движения, ослабить профсоюзы, сдерживать рост заработной платы, а с другой стороны, изменить социальную структуру населения западных государств. Место «опасного класса» – рабочих должен был занять благополучный и сосредоточенный на потреблении «средний класс», составляющий большинство голосующих граждан. Рабочий класс должен был окончательно расслоиться: с одной стороны – рабочая аристократия, по образу жизни, взглядам и уровню потребления составляющая часть «среднего класса», а с другой стороны – массы люмпенизированных разнорабочих, являющиеся бесправными мигрантами, не имеющими связи с гражданским обществом. Между ними лежала пропасть. Единое рабочее движение, объединяющее большую часть мира наемного труда, становилось невозможно.

Юридический статус трудовых мигрантов менялся с течением времени. Если вплоть до середины 70-х годов XX века, в условиях сравнительно жесткого контроля над государственными границами, большая часть иммигрантов находилась на законном положении, то по мере развития глобализации росло и число нелегальных иммигрантов. В свою очередь правительства (не без давления растущих ультраправых движений) начали ужесточать иммиграционное законодательство в большинстве стран. На практике это привело не к сокращению числа мигрантов, а к резкому ухудшению их общественного статуса и росту числа нелегалов. Однако это вполне соответствовало интересам предпринимателей, эксплуатирующих труд мигрантов. Мало того, что нелегальные рабочие стоят дороже, они оказывают дополнительное давление на рынок труда.

Влияние иммигрантов на безработицу и заработную плату «коренного населения» по-разному оценивается разными исследователями. Так, английский журналист Дэйв Крауч, ссылаясь на данные исследований, проводившихся в США с 1990 по 2004 год, заявляет, что «иммигранты обычно не претендуют на те же рабочие места, что и Американские рабочие»⁸³. Схожую картину давали и исследования, проводившиеся в Британии. Иммигранты и «местные» сосредотачиваются в разных секторах экономики. По той же причине, не являются иммигранты и причиной безработицы. Проблема осложняется тем, что страны, принимающие мигрантов, как правило, объективно испытывают нехватку рабочей силы. Сочетание устойчивого экономического роста с низкой рождаемостью типично для большинства «благополучных» государств. Аналогичную ситуацию в начале XXI века можно было наблюдать и в России, несмотря на то, что ей очень далеко было до западноевропейского благосостояния. С одной стороны, поддержание экономического роста (и, следовательно, – уровня жизни граждан) требует привлечения дополнительной рабочей силы за счет

⁸³ Socialist Review, December 2006. P. 18.

миграции. С другой стороны, миграционные процессы нелегко регулировать, число мигрантов может легко превысить спрос на рабочие руки. А главное, надо помнить, что мигранты конкурируют на рынке труда не только и столько с «коренным» населением, сколько друг с другом. В силу этого предприниматели крайне заинтересованы именно в избыточной миграции, которая помогает увеличить резервную армию труда.

Вот почему многие авторы не столь оптимистичны, как Дейв Крауч. Важно отметить, что данные, на которые ссылается английский журналист, относятся в первую очередь к компаниям, осуществляющим легальный найм работников. Использование нелегалов дает бизнесменам преимущество, которым те охотно пользуются, но они не торопятся объявлять во всеуслышание. «Поскольку работодатели платят рабочим, не имеющим правильно оформленных документов, меньше, – пишет Американский социолог Фил Гаспер, – планка заработной платы снижается для всех».⁸⁴

Эту проблему можно легко решить, легализовав имеющихся работников, но, по вполне понятным причинам, происходит обратное: наличие большой массы нелегалов приводится как доказательство того, что иммиграционные законы являются недостаточно жесткими, а после того, как законодательство в очередной раз ужесточается, численность нелегалов возрастает еще больше. Аналогичные тенденции можно было наблюдать в столь разных странах, как Россия, Франция и США. Показательно, что в странах с более гуманным иммиграционным законодательством (таких, как Швеция, Норвегия или Финляндия) ситуация с нелегальной иммиграцией стоит куда менее остро.

Однако успех социальной контрреволюции, осуществлявшейся европейскими элитами, обернулся таким клубком конфликтов и противоречий, что сами правящие классы почувствовали себя неуютно. В середине 2000-х годов социальные и культурные мины замедленного действия, заложенные под западное общество в процессе глобализации, начали взрываться одна за другой.

⁸⁴ International socialist review, Nov. – Dec. 2006, Nr. 50. P. 15.

Европогром

В октябре 2005 года дети мигрантов вышли на улицы Парижа и других французских городов. Ситуация вышла из-под контроля. Францию сотрясли погромы и поджоги. В России эти события вызвали волну откровенно расистских комментариев прессы. Либеральные журналисты и интеллектуалы с важным видом рассуждали об «исламском факторе» и «этнических конфликтах», объясняя, что события вызваны засильем во французских городах мусульман, которые хотят получать социальные пособия, но не хотят принимать западный образ жизни.

Французская полиция, пытавшаяся оправдать собственное бездействие, заявляла о хорошо организованных зачинщиках, стоящих за спиной бунтовщиков. Однако серьезная пресса признавала, что бунты являются социальными, а не религиозными. После того, как факты стали известны, лишь крайне правые издания продолжали рассказывать про исламских фундаменталистов, якобы стоящих за спиной погромщиков. Напротив, в России теорию «исламского бунта» поддерживали даже некоторые «левые»⁸⁵. Отечественная пресса взахлеб врала про «радикальный исламизм французских погромщиков»⁸⁶. Некоторые издания даже умудрились обнаружить в Париже разветвленное исламское подполье, связанное с террористами из зловещей и загадочной группировки «Аль-Каида». Даже респектабельный «Коммерсантъ» на полном серьезе пугал читателя тем, что «исламские бунты могут легко перекинуться в другие страны Европы»⁸⁷. Влиятельное агентство RBC в своем комментарии признавало, что «не религия становится основополагающим фактором для беспорядков. Ведь не случайно только 15% мусульман Франции посещает мечети». Но тут же заявляло: главная причина недовольства – «кризис самоидентичности»⁸⁸.

На самом деле, по меньшей мере треть юных погромщиков были вообще не арабы, а черные Африканцы, нередко христиане. Но и арабская молодежь, живущая в бедных пригородах, никакого другого языка, кроме французского, не понимала, а об исламе не имела ни малейшего представления. Среди пострадавших от поджогов зданий были не только школы и церкви, но и мечети⁸⁹. Состав бунтовщиков, как писала британская газета «Independent», отражал смешанный этнический состав парижских окраин. «Примерно 60% имеют арабское или Африканское происхождение, примерно 30% – черные, но есть и потомки смешанных браков, а также иммигранты из других европейских стран. Из пяти подростков, оказавшихся в четверг в суде района Бобиньи (Bobigny), два были арабского происхождения, трое белых, один – итальянец. Только один из пяти родился за пределами Франции»⁹⁰. А консервативная

⁸⁵ Примером того, как левая пресса некритически повторяла измышления правых, может быть статья А. Баранова «Шестая республика будет называться Парижская Джамахирия» на сайте Forum.Msk от 6 ноября 2005 года (<http://www.forum.msk.ru/material/fpolitic/4482.html>). Показательно, что автор не только принимает на веру сказки о связи между парижскими погромами и мифическим исламистским подпольем, но и называет исламистов сторонниками «Джамахирии». Между тем термин «Джамахирия» введен в обращение сторонниками ливийской революции, возглавлявшейся полковником Каддафи. Сторонники Джамахирии (то есть режима «народных советов») находились в конфликте с исламистами.

⁸⁶ Профиль. 2005, № 42. С. 30.

⁸⁷ Коммерсантъ. 7.11.2005.

⁸⁸ Волнения во Франции: причины и следствия. RBC.Ru. 7 ноября 2005. http://top.rbc.ru/index.shtml?/news/daythemes/2005/11/07/07141052_bod.shtml). Показательно, что попытки мусульманского духовенства остановить погромы никакого воздействия на молодежь не оказали. Союз исламских организаций Франции опубликовал фетву (предписание), в которой говорится, что «любому мусульманину, ищущему удовлетворения и божественной милости, запрещается участвовать в каких-либо действиях, слепо наносящих ущерб частному или общественному имуществу либо способных угрожать жизни других людей» (Коммерсантъ. 8 ноября 2005). Бунтующие подростки проигнорировали призывы исламских авторитетов.

⁸⁹ См.: Frankfurter Rundschau. Nov. 18.11.2005.

⁹⁰ Te Independent, 5. 11.2005.

«Figaro» в качестве главной причины событий называла «затяжную безработицу, безработицу среди молодежи».⁹¹

Разумеется, среди иммигрантов, переселившихся во Францию к концу XX века, были и вполне правочерные мусульмане, соблюдающие рамадан, не берущие в рот алкоголя и запрещающие своим девушкам показываться на улице с непокрытой головой. Но они-то как раз никакого отношения к бунтам не имели. Консервативные мусульмане во Франции держатся изолированно от общества, запрещают своей молодежи перенимать развратные нравы местных жителей, стараются удержать их от общения с христианами. Когда французские власти пытались запретить мусульманским девушкам ходить в школу в традиционных платках (хиджабах), возник серьезный конфликт, не имевший, однако, никакой связи с погромами 2005 года. Все ограничилось демонстрациями протеста и петициями в адрес властей.

Газета «Independent» совершенно справедливо констатировала, что главная причина происходящего не в культурных и религиозных проблемах, а в «бедности и отчуждении».⁹²

Выходящая в Париже англоязычная газета «International Herald Tribune» не удержалась от того, чтобы в связи с бунтами напомнить о «борьбе за политическое преобладание, ведущейся между премьер-министром Домиником де Вильпеном и министром иностранных дел Николя Саркози»⁹³. Для первого произошедшие события оказались катастрофой, а другому они дали повод требовать дополнительных полномочий. В конечном счете, именно Саркози, оттеснив соперника, стал в 2007 году официальным кандидатом французских правых на пост президента Франции. Может быть, это объясняет странную беспомощность полиции на первом этапе восстания?

Причину кризиса, конечно, надо искать не в сфере религии и культуры, но и не в сфере закулисных политических интриг. В конце XVIII и первой половине XIX века Европу то и дело сотрясали бунты, очень похожие на те, что развернулись во Франции 2005 года. Причем в Париже происходило это в тех же самых предместьях, на тех же самых улицах. Разница лишь в том, что автомобили не жгли за отсутствием таковых. А силы правопорядка, не приученные еще к гуманизму, без особых предупреждений открывали огонь по разбушевавшейся толпе.

Пока модные социологи рассуждали про «исчезновение пролетариата» в западных странах, мимо их внимания благополучно прошло то, что пролетариат не просто восстановился в первоначальной форме, но и заселился в те самые унылые предместья, откуда несколько поколений назад начал восхождение современный «средний класс». Новый пролетариат так же бесправен, так же не имеет родины, так же не может ничего потерять, кроме собственных цепей. Значительная часть новых пролетариев хронически не имеет работы, составляя «резервную армию труда», превращаясь в люмпенов (что тоже было типично для европейских городов середины XIX века). Масса людей, обреченных трудиться на низкооплачиваемых рабочих местах, а то и вовсе много месяцев безуспешно искать работу, прозябающих на грани нищеты, естественно, не отличается ни особой лояльностью по отношению к государству, ни чрезвычайным законопослушанием.

Две нации! – восклицал Викторианский политик Бенджамин Дизраэли, сравнивая бедняков и богачей. Принципиальное новшество начала XXI века состоит, однако, в том, что пролетарии действительно этнически принадлежат к другому народу, нежели буржуа. В свою очередь, либеральное общество могло теперь демонстративно закрывать глаза на социальный конфликт, списывая все проблемы на «религиозные различия», «трудности с ассимиляцией мигрантов», «культурные особенности» и т. д. Никто не хочет замечать, что мигранты

⁹¹ Le Figaro. 9. 11.2005. P. 17.

⁹² Te Independent. 5. 11.2005.

⁹³ International Herald Tribune. 3.11.2005.

давно ассимилировались, стали органической частью европейского общества и совершенно оторвались от своих культурных и религиозных корней, но не получили и не могут получить подлинного равноправия – потому и бунтуют!

Никакая этническая и религиозная политика ничего здесь изменить не может – ни жесткая, ни либеральная. Ибо ни та, ни другая не имеет отношения к сути проблемы. Решить проблему пролетариата может только изменение общества. Бунт предместьев был насквозь французским – по духу, по традиции, по своим требованиям. Массовые выступления свидетельствовали о том, что потомки иммигрантов стали французами, сделались органической частью французского общества, разделяют ценности республики и хотят, чтобы с ними самим обращались соответственно⁹⁴. События 2005 года, писали французские исследователи Ален Блюм и Сильвия Серрано, вполне вписывается в традицию, начатую революциями 1789 и 1848 годов. Выступления молодежи пригородов служат наилучшим «доказательством того, что эти молодые люди – французы, что они вписываются в традиции французского социального движения и требуют, чтобы к ним применялись основные социальные и политические принципы республики»⁹⁵. Соглашаясь с этими выводами, историк Эрве Ле Брас добавлял, что на протяжении истории социального движения «уровень насилия и нанесенный ущерб раз от раза сокращались». На сей раз – после месяца столкновений молодежи с полицией – «ни одной непосредственной жертвы».⁹⁶

Драки с полицией и поджог машин были единственным способом, с помощью которого обездоленные могли привлечь к себе внимание прессы и «общества». Приходится в очередной раз констатировать, что *насилие – это пиар бедных*.

«Сегодня на улицы вышли молодые люди по имени Мурад и Мунир из бедных пригородов Парижа, Марселя и руана, – писала израильская газета «Гааретц». – в этой ситуации французские левые должны быть выше всех существующих предрассудков относительно “неисправимости” ислама и мусульман и не поддаваться на провокации вроде тех, которые уже осуществила администрация Джорджа Буша (вспомним, например, рекомендацию гражданам США не посещать “районы насильственных столкновений”).

Если здоровые силы французского общества смогут направить начавшуюся борьбу в правильное русло и добьются принципиального изменения системы приоритетов в социальной сфере, это пойдет на пользу всей Европе. Вполне вероятно, что сможет, наконец-то, осуществиться старая мечта левых сил о превращении этого континента в подлинно мультикультурное сообщество. Если же этого не произойдет, то не только во Франции, но и во всем мире восторжествуют принципы, вдохновляющие Джорджа Буша и израильских правых. Они гласят, что все происходящее объясняется только наличием “чрезмерно большого количества мусульман”».⁹⁷

Между тем на французских и западноевропейских левых лежит большая доля ответственности за произошедшее. Деморализованное идеологически, дезориентированное политически, преданное своими лидерами, левое движение на протяжении 90-х годов XX века не сделало ничего для налаживания связи с новыми общественными низами. Европейский пролетариат тоже не сразу стал таким, каким мы его знаем по книгам и документам начала XX века. Этому способствовала многолетняя ежедневная и самоотверженная работа социалистических агитаторов, профсоюзных активистов, просветителей и организаторов. Именно благодаря этой повседневной работе формы протеста пролетариата стали

⁹⁴ Эта мысль была высказана большинством марксистских аналитиков во Франции, рассматривающих восстание пригородов как органическую часть общего процесса развития социальных движений. См. например: Spire A. Le mouvement ne se prouve pas en marchant. Nouvelles Fondations, 2006 Nr. 3-4. См также дискуссии в журнале «Utopie critique».

⁹⁵ Неприкосновенный запас, 2005, № 6. С. 130.

⁹⁶ Там же. С. 131.

⁹⁷ Haaretz. 7.11.2005. English edition: <http://www.haaretz.com/hasen/spag-es/642206.html>

не только более «цивилизованными», но и более эффективными, а солидарность различных групп трудящихся (независимо от национальной принадлежности, квалификации и уровня зарплаты) сделалась неотъемлемым элементом пролетарской культуры. Значительная часть этой работы была направлена на объединение и повышение классовой сознательности мигрантов (тогда – выходцев из Южной и Восточной Европы). Напротив, жители иммигрантских кварталов в конце XX века были предоставлены сами себе.

Вместо того чтобы заниматься организационной и идеологической работой среди мигрантов, многие левые идеологи и активисты предпочитали путано рассуждать о политической корректности, «мультикультурности», толерантности и идентичности. А обнищавшим жителям парижских пригородов нужны были не идентичность с толерантностью, а хорошие рабочие места, защищенные профсоюзами.

1968 год – наоборот

Не прошло и полугода после восстания парижских предместий, как Франция в очередной раз привлекла к себе внимание. На сей раз выступила другая часть молодежи – куда более благополучное студенчество Сорбонны и других университетов. Поводом стал принятый правым парламентским большинством законопроект о «первом найме», фактически лишивший молодежь каких либо прав и гарантий при поступлении на работу.

Вполне в духе героев Дж. Оруэлла французское правительство пропагандировало этот проект в качестве примера заботы о трудоустройстве молодых людей. И в самом деле: бесправные работники гораздо привлекательнее для предпринимателя, чем те, чьи права защищены законом. Значит, их будут брать на работу чаще! И увольнять тоже. Подобные меры по стимулированию занятости неизменно ведут к потере рабочих мест (вернее, хорошие рабочие места закрываются, а открываются плохие, низкооплачиваемые).

Протестующих студентов поддерживали профсоюзы, левые организации. Французы вышли на улицы. Столкновение между властью и студентами переросло в конфликт, затрагивающий всех и каждого. Все вынуждены были сделать выбор.

И выбор этот оказался категорически не в пользу власти. Даже Социалистическая партия, по своей идеологии и практике давно не отличающаяся от правых либералов, испуганно шарахнулась влево: впереди маячили президентские выборы.

16 марта 2006 года студенческие демонстрации собрали по всей стране до полумиллиона участников. 18 марта, в день Парижской Коммуны, в демонстрациях участвовала уже не только молодежь. Профсоюзы объявили, что выведут на улицы полтора миллиона человек, и сдержали слово. Полиция называла меньшие цифры, но никто не может отрицать, что общенациональная мобилизация была поистине впечатляющей. По выражению газеты «Le Monde», противники нового закона о трудовых контрактах «выиграли пари»⁹⁸. Власти, заявлявшие, что не уступят давлению улицы, пошли на попятный. Закон был отменен.

Грандиозные манифестации в Париже и других городах продемонстрировали, что люди готовы к более жестким действиям. Радикальная молодежь уже в ночь с субботы на воскресенье начала сражаться с полицией, а профсоюзные активисты взялись за организацию забастовок.

Либеральная пресса, столкнувшись с массовым протестом молодежи, не могла предложить ничего, кроме банальных ссылок на повторение «студенческой революции 1968 года». Между тем события, происходившие во Франции 2006 года, отличались от «майской революции» 1968 года и по форме, и по содержанию.

Студенческие протесты 1960-х были эмоциональным бунтом против потребительского общества и происходили в период расцвета европейского «социального государства». Выступления 2000-х, напротив, явились ответом населения на демонтаж системы социальных гарантий. Голосование против Европейской Конституции, волнения в пригородах и демонстрации студентов были лишь разными проявлениями массового сопротивления неолиберализму. Сопротивления, поддержанного подавляющим большинством народа.

Студенты, бунтовавшие в 1968 году, были гораздо более радикальны, но они были изолированы от основной массы населения. На сей раз, напротив, они были не более чем одним из отрядов широкого общественного движения. Причем – не самым радикальным. В 1968 году левые силы были влиятельны, но их идеи отнюдь не были идеями большинства. Получив возможность высказать свое мнение, обыватель летом 1968 года проголосовал за голлистов. Напротив, в середине 2000-х годов левых в точном смысле этого слова на политической

⁹⁸ Le Monde, 18.03.2006.

арене Франции практически не было. Социалистическая партия являлась таковой только по названию, а по своей политической ориентации находилась во многих вопросах правее голлистов. Коммунисты были слабы, разделены на соперничающие группировки и дезориентированы. Зато общество, на сей раз, оказалось несравненно левее, нежели в 1960-е годы.

Политическая жизнь 1960-х, с ее расколом на правых и левых (при устойчивом перевесе правых), более или менее точно отражала разделение мнений и позиций в самом обществе. Политика середины 2000-х представляет собой своего рода зеркальное отражение, изнанку, противоположность общественных настроений. Тогда политическая борьба отражала противоречия общества, теперь мы видим вопиющее противоречие между жизнью общества и положением дел в политике.

Конфликты подобного рода – естественное следствие той политической и социально-экономической реальности, которая называется Европейским Союзом. Вернее, институциональная суть Евросоюза как раз и состоит в отмене демократии в том смысле, к которому наивные европейцы привыкли за последние сто лет. Неудивительно, что обиженное и выброшенное из политического процесса большинство выступило в защиту своих прав. Начав раньше других, Франция лишь в очередной раз показала себя, как говорил Маркс, «классической страной» политической борьбы.

Новая эпоха

Несомненно, по сравнению с XX веком, времена изменились. Изменились технологии, организация общества, его структура и состав. Изменились культурные условия. Капитализм развивается, сталкиваясь с кризисами и реорганизуя себя. Новая эпоха требует от левых очередного переосмысления своей роли в обществе. Политика и идеология левых должна быть направлена на то, чтобы способствовать интеграции мира труда. Надо выделить общие интересы и сформулировать общие требования. Речь идет не о механическом «авангардизме», подчиняющем «отсталые» слои целям и задачам «передовых». Напротив, речь идет о сложном поиске взаимопонимания, ибо социальный эгоизм «передового» слоя всегда бывает наказан.

Вопрос о политической гегемонии становится практическим вопросом социальной повседневности. Речь идет о том, что классовая политика необходима самим людям для того, чтобы понять собственное место в жизни, установить связи с другими людьми, найти себя в обществе. Эту работу, применительно к потребностям миллионов индустриальных пролетариев конца XIX века сделала старая социал-демократия. По отношению к новым пролетариям эта работа еще только должна быть сделана. Но для того, чтобы теория стала практикой, а благие пожелания – программой действий, вовлекающей миллионы людей, самим левым необходимо радикально изменить подход к политике и идеологии, сменив демагогически-утопические разглагольствования о «множествах» конкретным социальным анализом.

Революционные армии всегда учились сражаться уже на поле боя. Жесткая логика классовой борьбы не оставляет нам надежды, если мы будем полагать, что сначала будет достигнут массами нужный уровень массового сознания, а потом уже настанет время революционного действия. Нет, действие само по себе является важнейшим условием «созревания» трудящихся, участие в борьбе превращает толпы в массы, а массу в класс. Задача левых состоит в том, чтобы придать протесту направленность, определенность, целесообразность и эффективность.

В начале XXI века мир труда не просто оказался «объективно» разобщен. Чтобы он стал единой социальной силой, нужна объединяющая политика и идеология, которые на протяжении 90-х годов левые, казалось бы, предложить не могли. А ведь искать далеко не было необходимости. Достаточно было бы вспомнить идеи классического марксизма, которые во времена глобализации ничуть не утратили своей актуальности.

Глава III

Можно ли обойтись без Маркса?

Не будет большим преувеличением сказать, что идеологическая жизнь большей части XX века прошла под знаком марксизма. Но после событий 1989—1991 годов марксистский социализм, еще недавно казавшийся столь реальной силой, вновь превратился в призрак. Если в 1970-е годы на Западе неомарксистская культура не только бурно развивалась, но и претендовала на идейную гегемонию в обществе, даже доминировала в среде интеллигенции, то к середине 1990-х она оказалась в глубочайшем кризисе.

Кризис марксизма начался еще до крушения советской системы. События 1989—1991 годов лишь закрепили и усилили тенденцию, наметившуюся гораздо раньше. Уже к концу 1970-х годов живые дискуссии сменяются более или менее однообразным повторением одних и тех же позиций. Один за другим уходят из жизни выдающиеся мыслители, власти дум «взбунтовавшегося поколения» 60-х годов – Герберт Маркузе, Эрих Фромм, Жан-Поль Сартр, Дьердь Лукач – и на их место не приходит никого, хоть сколько-нибудь способного заполнить образовавшийся вакуум.

Во второй половине 1980-х идейный кризис дополняется политическим. Интеллектуалы продолжают изучать вопросы теории на своих кафедрах, но это все меньше связано с общественной борьбой за дверями университетов. А сами университеты перестают быть ареной политических страстей. Крушение коммунистических режимов Восточной Европы, за которым следует триумфальная реставрация капитализма, наносит еще один удар по духовному миру левых. Ренегатство становится массовым. Вчерашние радикалы превращаются в карьеристов. История кажется, если и не оконченной, то остановившей свой бег.⁹⁹

И все же, как отметил Жак Деррида в нашумевшей книге «Призраки Маркса», несмотря на постоянно повторяющиеся попытки окончательно похоронить автора «Коммунистического манифеста», несмотря на все усилия профессиональных заклинателей, «призрак коммунизма» не уходит. В 1848 году призрак коммунизма был страшен тем, что представлял не прошлое, а возможное будущее. На рубеже XX и XXI веков противники марксизма постоянно подчеркивают, что этот призрак принадлежит именно прошлому, и в то же время страшно боятся его возвращения в будущем, доказывая, что «нельзя допустить его реинкарнации».¹⁰⁰

⁹⁹ Наиболее полно это настроение выразил, разумеется, Ф.Фукуяма в своей книге о конце истории. См. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек (The End of History and the Last Man). М.: АСТ, 2005.

¹⁰⁰ *Derrida J. Specters of Marx. N. Y. & L. 1994. P. 39.*

Ревизионизм

Это постоянное присутствие призрака особенно нервировало модных интеллектуалов из числа бывших марксистов. Энтони Гидденс в своих работах конца 1990-х годов констатирует «окончательную дискредитацию марксизма»¹⁰¹, которая делает, по существу, ненужной любую дискуссию по этому поводу, но тот же Гидденс постоянно вынужден снова и снова возвращаться к марксистской традиции и объяснять преимущества предлагаемого им «радикального центризма» перед марксистскими взглядами на социализм.

В таком постоянном возвращении к вопросу о Марксе, сочетающемся со столь же неизменным напоминанием о том, что вопрос этот совершенно лишен актуальности, есть что-то фрейдистское. «вытесненное» возвращается из подсознания.

Стремление похоронить Маркса тем более естественно, чем более воззрения Маркса живы. Никто не стремится «похоронить Гегеля» или опровергнуть Вольтера, ибо и так понятно, что гегельянство и Вольтерьянство принадлежат прошлому. Идеи философов прошлого растворились в современных теориях. С Марксом этого не произошло. И не могло произойти, ибо общество, которое он анализировал, критиковал и мечтал изменить, по-прежнему живо. В этом смысле пророческими являются слова Сартра о том, что концом марксизма может быть лишь конец капитализма.

Более того, как отмечают многие западные авторы, благодаря глобализации идеи Маркса становятся только актуальнее. Разве не он писал об интернациональном характере капитализма и динамике его социального развития? во многом, его тексты выглядят в начале XXI столетия более актуальными и востребованными, нежели в 60-е или 70-е годы XX века. Цитата из «Коммунистического манифеста» была даже использована в одном из ежегодных докладов Мирового Банка, а 150-летие этого произведения дало толчок к широкой дискуссии об актуальности марксизма, причем не только в левых изданиях. Подводя итоги этой дискуссии, Американские историки Эрик Канепа и Виктор Уоллес пишут, что почти повсеместно отмечалась точность предсказаний, сделанных Марксом, предрекавшим глобализацию еще в середине XIX века. «Эти комментарии, точно так же как и новые издания «Манифеста», доказали, что Маркс актуален именно тем, что проанализировал природу капиталистической экспансии, повторяющихся технологических переворотов и не менее регулярно повторяющихся кризисов. Разумеется, это не все, что мы можем узнать из «Манифеста», но это наиболее важно с точки зрения сегодняшнего дня, и именно это сейчас получило признание – иногда восторженное, иногда вынужденное – за пределами среды, обычно интересующейся политикой».¹⁰²

Возрождение интереса к марксизму было встречено одобрительно далеко не всеми, даже среди левых. Жесткие и категоричные выводы великого экономиста создают дискомфорт, они мешают проводить умеренную и гибкую политику. В конечном счете, они оборачиваются моральным осуждением тех, кто идет на компромисс с капиталистическим порядком. Потому стремление ревизовать марксизм возникает практически одновременно с парламентскими рабочими партиями.

Для того чтобы стать умеренным, социализм должен был пройти через ревизионизм. Ведь если марксизм принадлежит прошлому, значит, его жесткие выводы утратили моральное значение для современности. От исторического социализма остаются лишь общие «ценности», которые каждый волен трактовать по-своему.

¹⁰¹ Giddens A. *The Third Way*. P. vii.

¹⁰² *Socialism and Democracy*. 1998. V. 12. № 1—2. P. III.

Совершенно очевидно, что капитализм меняется, а потому бесполезно воевать с ним с помощью цитат из книг, написанных в прошлом веке. Ни умеренность, ни компромисс сами по себе не являются грехом. В конкретных политических условиях любая серьезная партия обречена на поиски компромиссов. Политика не может не учитывать соотношение сил. Но людям свойственно идеологизировать свою практику, превращать оправдание сегодняшних действий в идеологию будущего. А это значит, что неблагоприятная политическая конъюнктура превращается в идеальное состояние, вынужденное отступление – в мудрую стратегию, слабость – в доблесть. Там, где это произошло, поражение делается необратимым, тактическая слабость становится стратегическим бессилием, а целью движения вместо преобразования общества становится более успешное приспособление к нему.

Показательно, что термин «ревизионизм» восходит к лексике бухгалтерского учета. Речь идет не о переосмыслении или даже критике марксизма, а именно о механическом подсчете теоретической наличности, «активов» и «пассивов» учения, после чего некоторые сохранившиеся «ценности» можно использовать, а устаревшие идеологические продукты – списать в утиль. Подобная жесткость и «конкретность» подхода роднит ревизионистов с самыми отчаянными ортодоксами. Разница лишь в том, что последние цепляются за каждый идейный «предмет», доказывая, как некоторые пожилые хозяйки, что его обязательно нужно сохранить в доме «на всякий случай». А идеолог-ревизионист старается расчистить помещение и побыстрее выкинуть «лишнее».

Аналитический метод ревизионизма точнее всего можно было бы назвать описательным. Сопоставляя описание тех или иных социальных явлений в классическом марксизме с современной реальностью, они совершенно справедливо констатируют разницу. На этом исследование и заканчивается, ибо данное различие само по себе уже рассматривается как основание для отказа от выводов Маркса. Анализа в точном смысле слова здесь нет, он считается просто излишним. Беда в том, что реальность продолжает меняться. События и процессы, описанные ревизионистами, тоже уходят в прошлое, ставя под сомнения их выводы.

Исторически ревизионизм был важным этапом в развитии социалистической мысли. Ревизионистские заявления Эдуарда Бернштейна в начале XX века поставили под вопрос эпигонскую ортодоксию Карла Каутского и других учеников Энгельса¹⁰³. Тем самым Бернштейн спровоцировал острую теоретическую дискуссию, конечным итогом которой были идеи Ленина, Розы Люксембург, Троцкого, Грамши, Лукача. Все они вряд ли сформулировали бы свои взгляды, если бы ревизионистский вызов Бернштейна не подтолкнул революционное крыло социал-демократии к тому, чтобы выдвинуть собственную альтернативу – как ревизионизму Бернштейна, так и каутскианской ортодоксии. Периодически повторяющиеся дебаты об актуальности марксизма и очередные ревизии знаменуют начало очередного поворотного момента в истории социалистического движения и мысли. Они, бесспорно, свидетельствуют о кризисе марксизма или его господствующих интерпретаций (включая и ревизионистские).

Когда в середине 1980-х официальная советская наука отказалась от прежних ортодоксальных подходов, не было недостатка в авторах, попытавшихся суммировать и теоретически обосновать общие выводы ревизионизма. Так, Владислав Иноземцев пишет, что на Западе в течение XX века «кардинальным образом переродились внутренние основы общественного строя, причем иногда даже в большей степени, чем там, где пронесли вихри революций и гражданских войн». По его словам, «после великой депрессии и второй мировой войны западные общества претерпели изменения, которые, будучи относительно малозаметными поверхностному наблюдателю, к середине 60-х годов вывели эти социумы за

¹⁰³ См.: *Бернштейн Э. Очерки из истории и теории социализма*. СПб., 1902. Основная программная работа на немецком языке: Bernstein E. *Wie ist wissenschaftlicher Sozialismus möglich*. Berlin, 1901.

пределы капиталистического строя». Речь идет о переходном обществе, причем все дальнейшие изменения будут происходить «эволюционным образом»¹⁰⁴. В ходе этой эволюции все цели прежнего марксистского социализма достигаются, но без потрясений, классовой борьбы, экспроприации и других неприятностей, хотя, конечно, не без социальных и политических конфликтов, возможность которых не отрицает даже самый умеренный автор.

Очень показательна эта отсылка к 1960-м годам в книге, вышедшей уже в 1990-е. Никакого анализа неолиберализма в ней нет, не найдем мы в ней и указаний на систематическое урезание социальных прав, начавшееся практически во всех западных демократиях. Нет и оценки того, как повлияла на западный мир реставрация капитализма в Восточной Европе. Хотя, казалось бы, автор, живущий в России, не мог подобных явлений не заметить. Здесь дело, однако, не в забывчивости, а в методологии. Подобная же аргументация, непременно отсылающая нас к послевоенной эпохе социал-демократических реформ, характерна и для других авторов. Главный редактор ведущего академического журнала «Полис» И.К. Пантин, признавая заслуги Маркса в истории общественной мысли, пишет: «Дальнейший ход истории показал, однако, что многие из проблем буржуазного общества, на которые указывал Маркс, стали решаться в процессе совершенствования капиталистического производства (повышение зарплаты, рост массового потребления, социальное законодательство, объединение капиталов и сил управления на национальном и межнациональном уровне, вмешательство государства в экономику и т. д. и т. п.). Все чаще приходится признавать, что марксистские каноны критики капитализма соответствуют скорее прошлому, чем настоящему, а тем более будущему».¹⁰⁵

Реальные изменения, происходившие в буржуазном обществе 60-х годов, были восприняты ревизионистскими школами как конец традиционного капитализма. Кстати, сходным образом оценивал перемены в западных странах и Эдуард Бернштейн, хотя, к его чести, надо отметить, что он воздерживался от однозначных выводов, делавшихся последующими ревизионистскими школами. Увы, описывая «новую реальность», они не замечали, как она, в свою очередь, тоже устаревала. «Государство всеобщего благоденствия», «социальное государство» (Welfare State, Sozialstaat); в конце XX века – это уже термины, принадлежащие прошлому. В мировом масштабе восторжествовала не только идеология свободного предпринимательства, но и практика нелиберального капитализма.

«Социальное государство» в западных демократиях поэтапно сдавало свои позиции на протяжении 1980-х и 1990-х годов. Еще более масштабным было наступление капитала на права трудящихся в странах «периферии». Рыночный механизм все более освобождался от всякого государственного и интернационального регулирования, частная собственность утверждалась в качестве всеобщего и священного принципа. Другой вопрос, насколько эти перемены являются необратимыми и насколько провозглашаемая либеральной пропагандой идеальная модель свободного предпринимательства соответствует реальной практике позднего капитализма.

Технологически перемены породили не «экономику свободного творчества», а «экономику дешевой рабочей силы». Уровень эксплуатации вместо того, чтобы снизиться, повысился. Зависимость работников от администрации стала возрастать, а заработная плата

¹⁰⁴ *Иноземцев В.Л.* К теории постэкономической общественной формации. М., 1995. С. 13—14, 192. Те же выводы без какой-либо серьезной корректировки Иноземцев повторяет и в более поздних работах: Иноземцев В. Л. Расколота цивилизация. М.: Наука, академия, 1999; Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М.: Логос, 2000. Готовность представить достижения западного Welfare State 1960-х годов как необратимые присуща и более радикальным авторам. Например, так же рассуждает и Олег Смолин, депутат Государственной Думы, известный защитник права на образование. См.: Смолин О. Куда несет нас рок событий. М., 1995. Poleмику со Смолиным см.: Кагарлицкий Б. Принцип Кассандры//альтернативы. 1996/97. № 4.

¹⁰⁵ Полис. 1996. № 4. С. 113.

падала не только в развивающихся странах и в бывших коммунистических государствах, но с середины 90-х – и в ряде западных стран.

На первых порах ревизионистские школы предпочитали игнорировать неолиберализм или представлять его как временное явление, лишь осложняющее общее гармоничное развитие общества. Но неолиберализм является вовсе не «зигзагом развития», не ошибкой политиков, а магистральным направлением эволюции капитализма. Суть его в том, что буржуазное общество уже не может позволить себе сохранять социальные достижения прошлых десятилетий. И хотя социал-демократы справедливо отмечали, что объем ресурсов, которыми общество располагает для решения своих социальных проблем, по сравнению с 60-ми значительно возрос, это не имеет никакого отношения к делу: становясь глобальной системой, капитализм неизбежно делается и жестче, и расточительнее.¹⁰⁶

Принципиальное отличие правой волны 80-х и 90-х годов XX века от предшествующих наступлений (или контрнаступлений) консервативных сил состоит в том, что на сей раз, правые использовали лексику «прогресса» и «модернизации», ранее считавшуюся непременным атрибутом левой пропаганды.

«В социалистическом жаргоне термины “левый” и “прогрессивный” долгое время были синонимами», – пишет английский историк Уиллиам Томпсон. Идея прогресса доминировала в «модернистском» сознании, а идеология и практика левых воспринималась как наиболее последовательное выражение этой идеи. В результате «левые в широком смысле двигались в том же направлении, что и общий культурный поток – за исключением лишь периода подъема фашизма в 1933—1942 годах; правые, напротив, какие бы политические успехи они ни одерживали, находились как бы в постоянной обороне, а после 1945 года они даже стали действовать по принципу “не можешь их победить – присоединись к ним”. Идея о том, что история – на твоей стороне, относится к категории мифов, но показательно, что этот миф могло выработать лишь левое движение, а правым приходилось довольствоваться ностальгией»¹⁰⁷. Все радикально изменилось в середине 1980-х годов. Буржуазия впервые с XIX века вновь обрела наступательную идеологию. Неолиберализм сумел представить себя как динамичную силу, способствующую модернизации, обвинив рабочее движение, левых и профсоюзы в консерватизме, косности, враждебности техническому прогрессу и стремлении пожертвовать будущим ради сегодняшнего благополучия и «привилегий». Парадоксальным образом, в то же самое время вера в прогресс сама по себе была поколеблена, причем не в последнюю очередь об этом позаботились сами левые. Экологическая, феминистская и постмодернистская критика господствующей идеологии была основана не на более радикальном прогрессизме, а на глубоком сомнении в прогрессе как таковом. Это было закономерным переосмыслением исторических итогов XIX—XX веков¹⁰⁸. Но для левых подобная смена настроений в обществе оказалась катастрофической. «Подобная смена взглядов привела к падению главной идеологической цитадели левых, и это имело гораздо более тяжелые последствия, чем любые конкретные политические неудачи».¹⁰⁹

¹⁰⁶ Подробнее см.: Валлерстайн И. После либерализма. М.: УРСС, 2003.

¹⁰⁷ *Tompson W.* *The Left in History*, L.&Chicago, Pluto Press. 1997. P. 1, 9.

¹⁰⁸ Формулируя итоги самокритики немецких левых в начале 90-х годов, Андре Бри пишет об их некритической приверженности «буржуазному пониманию прогресса» (Brie A. *Befreiung der Visionen*. Hamburg, 1992. S. 25).

¹⁰⁹ *Tompson W.* *Op. cit.* P. 9. См. Также: Giddens A. *Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics*. Cambridge: Polity Press, 1994. P. 1—4, 69 etc.

Марксизм и рабочий класс

Как отмечают теоретики немецкой Партии демократического социализма, в 90-е годы XX века неолиберальной пропаганде удалось объявить препятствием для модернизации и прогресса именно те структуры и отношения, которые прежде считались главными признаками «цивилизованности» капитализма¹¹⁰. Такая подмена тезиса не может быть объяснена одними только идеологическими манипуляциями. Ведь ранее тезис о том, что «социальные реформы» качественно изменили природу капитализма, тоже с энтузиазмом был поддержан буржуазной пропагандой.

Дело в том, что период, который в марксистских категориях нельзя называть иначе, кроме как эпохой социальной реакции, был одновременно и временем бурного технологического развития. Подобная ситуация не уникальна. Первый и наиболее бурный этап индустриальной революции XIX века тоже пришелся именно на эпоху реакции. Период 1816—1848 годов был временем господства «Священного союза», подавления и дискредитации революционных и республиканских идей в Европе, но это же было временем массового внедрения паровой машины, строительства железных дорог, формирования промышленного пролетариата. После краха наполеоновской империи на политическом и идеологическом уровне буржуазно-демократические лозунги были отвергнуты обществом, традиционные элиты праздновали не только военную, но и моральную победу. Однако именно тогда закладывались предпосылки для нового революционного взрыва, потрясшего Европу в 1848—1849 годах.

Задним числом внедрение новой техники рассматривалось как важнейшее условие развития европейского рабочего движения. Но как ни парадоксально, первым социальным результатом индустриальной революции было резкое ослабление позиций рабочего класса. Американский экономист Фред Блок отмечает: «Квалифицированные ремесленные рабочие, такие, как лионские текстильщики или шэффилдские ножовщики, в доиндустриальный период обладали реальной возможностью контролировать производство, поскольку они обладали уникальными техническими знаниями, и их нельзя было заменить. Среди них господствовали отношения солидарности. Им приходилось сталкиваться с безработицей, когда в экономике наступал спад, но даже тогда они не соглашались на какую попало работу, зная, что с окончанием кризиса их квалификация и знания будут опять востребованы и достойно оплачены. Уровень профессионализма защищал их от рыночного принуждения»¹¹¹. На этом основании Блок даже делает вывод о том, что переход к современной экономике мог базироваться не только на массовом производстве и неквалифицированном труде, типичном для второй половины XIX века, ибо существовал «альтернативный путь, основанный на развитии специализации и трудовой квалификации».¹¹²

Карл Маркс тоже отмечал исключительные социальные достижения английских рабочих накануне индустриальной революции, но, по его мнению, именно стремление предпринимателей освободиться от диктата работников и навязать им новые, более выгодные для капиталистов трудовые отношения было одним из стимулов для массового внедрения новых машин, индустриальной революции. Иными словами, успехи рабочих подтолкнули технологическое перевооружение промышленности, в результате которого европейский пролетариат потерпел историческое поражение. Другое дело, что эта технологическая революция, в свою очередь, спровоцировала социальные сдвиги, которые привели к появлению нового рабочего движения, бросившего еще более радикальный вызов буржуазии.

¹¹⁰ См.: PDS Pressedienst, Dec. 13. 1996. №. 50—51. S. 3.

¹¹¹ Block F. Postindustrial Possibilities. Berkeley. L.A., Oxford, 1990. P. 82—83.

¹¹² Ibidem. P. 82.

Социальным итогом индустриальной революции XIX века стало, с одной стороны, изменение ситуации в рядах самой буржуазии, когда рост промышленного капитала привел к новым требованиям радикального переустройства общества. А с другой стороны, эта буржуазия вскоре оказалась под сильнейшим давлением со стороны формирующегося и обретающего политическую организацию пролетариата. Это означало неизбежную радикализацию общества и конфронтацию с силами «старого порядка». Если в 20-е и 30-е годы XIX века идеи великой французской революции были дискредитированы трагической практикой «якобинского террора» и бонапартовской империи, то к 1840-м годам в Европе вновь наблюдается всеобщее увлечение якобинством, которое воспринимается уже не только как идеологическое оправдание гильотины, но и как первая, неудачная, попытка социального и политического освобождения. Марксизм появился на свет не просто как результат теоретических поисков Маркса и Энгельса, но и как отражение и осмысление этого процесса.

Начиная с конца 40-х годов XIX века, когда рабочее движение вновь окрепло и добилося серьезных успехов, когда на смену ремесленным гильдиям пришли современные тред-юнионы, а затем появились и первые социалистические партии, левые сформировали свою политическую традицию, культуру и мифологию. Как и всякая мифология, она основывалась на обобщении опыта реальной истории, но сам этот опыт был преобразован массовым сознанием. Во-первых, в среде левых установилось представление о почти механической связи между технологическим и социальным прогрессом. Во-вторых, социальный прогресс стал восприниматься как нечто неизбежное, необратимое и неудержимое.

Данные идеи никогда не были сформулированы самим Марксом, хотя его тексты дают возможность для подобной интерпретации. И все же Маркс, будучи не только учеником Гегеля, но и человеком, чья юность совпала с эпохой реакции, неоднократно напоминал и о трагических парадоксах прогресса и о неравномерности и противоречивости исторического развития. Все эти нюансы казались второстепенными новому поколению лидеров идеологов рабочего движения, чьи идеи сложились под влиянием успешного наступления левых сил во второй половине XIX века и позитивистского технологического оптимизма. Этот же комплекс идей и представлений господствовал среди левых до конца 80-х годов XX века.

Параллели между историей промышленной революции первой трети XIX века и технологической революцией, охватившей конец XX и первые годы XXI века, буквально лежат на поверхности.

Показательно, что ревизионисты 1980—1990-х годов недооценили значение и масштабы неолиберальной реакции так же, как ортодоксальные марксисты в 1960-е годы не желали видеть происходивших тогда перемен. Между тем события 1990-х показали, что глубинная природа капитализма, если и изменилась, то значительно меньше, чем хотелось умеренно-левым идеологам. А «новые явления», на которые они ссылались, были в значительной мере результатом классовой борьбы и противостояния двух систем, иными словами, были навязаны капитализму «извне».

Культура как «единственная альтернатива»

На рубеже XX и XXI веков главный редактор лондонского «New Lef Review» Перри Андерсон выступил с программной статьей, в которой объявлял традиционный марксистский и левый проект исчерпанным, а политическую борьбу бесперспективной. Единственная альтернатива капитализму состояла, по его мнению, в «культурной критике». ¹¹³

Символично, что с таких позиций выступил именно автор, имя которого неразрывно связано с развитием марксистской традиции в Англии и США, на страницах журнала, который в течение предшествовавших десятилетий оставался образцом классового и политически ангажированного анализа. Капитуляция Перри Андерсона, правда, обставленная с достоинством и изяществом истинно британского аристократизма, свидетельствовала о глубочайшем кризисе радикальной интеллигенции Запада.

На фоне кризиса традиционной левой политики постмодернистские варианты радикализма выглядели доступной и привлекательной альтернативой. Термин «постмодернизм» переместился в социологию и политику из архитектуры и изобразительного искусства. Повлияли постмодернистские концепции и на литературоведение. Речь идет о принципиальном отказе от целостного мировоззрения, а в политике – от стратегии, основанной на привычном для марксизма классовом подходе. «Мы не разделяем... мнения, что существует некая система, которую можно называть капитализмом и которой можно противопоставить четкую альтернативу – социализм», – заявляли авторы калифорнийского журнала «Socialist Review», ставшего своего рода рупором радикального постмодернизма в США. ¹¹⁴

С середины 1990-х годов постмодернизм превратился не только в модное интеллектуальное направление, но и стал главной теоретической альтернативой марксизму и другим разновидностям социалистической мысли среди западной интеллигенции. Университетская публика увлекалась постмодернистскими играми с наслаждением избалованных детей ¹¹⁵. Но за пределами интеллектуальной элиты постмодернизм никогда не имел массового влияния. Начиная с конца 90-х, он все более оказывался под огнем критики. По мнению многих исследователей, за новыми теоретическими течениями стоит не только стремление преодолеть ограниченность классического марксизма, но и готовность соответствовать требованиям, предъявляемым современным рынком к интеллектуальному производству.

Культ «новизны», типичный как для постмодернизма, так и для близких к нему направлений, воспроизводит ценности и стиль, характерные для коммерческой рекламы. Чем менее активен гражданин, тем более он превращается в потребителя политики. Демократия участия сменяется «свободой выбора» равнозначной «свободе» посетителя супермаркета. «в современной культуре потребления стиль сам по себе становится ценностью, он определяет то, как люди воспринимают общество, – отмечает Американский исследователь Стюарт Ивен. – разнообразие товаров, которые мы можем приобрести, приравнивается к разнообразию идей и взглядов, которые мы можем разделить» ¹¹⁶. Современный рынок постоянно требует появления новых товаров, отличительным свойством которых является именно новизна. Вообще, понятие «новизны» становится ключевым, вытесняя прежнее представление о «качестве». Оно делается фактором маркетинга, символическая значимость предмета

¹¹³ New Lef Review, Nr. 1 – new series, Jan. – Feb. 2000. P. 20–21.

¹¹⁴ Socialist Review (S.F.). 1995. V. 25, № 3–4. P. 10.

¹¹⁵ Любопытно, что к тому времени, когда постмодернистские концепции уже выходили из моды на Западе, они начали стремительно распространяться в среде российской интеллигенции, причем не только в столичных городах. Показательным примером русского постмодернистского философствования может служить сборник, изданный в Самарском университете: Идея университета и топос мысли. Самара, 2005.

¹¹⁶ Ewen S. All Consuming Images. N. Y.: Basic Books, 1988. P. 112.

оказывается по крайней мере сопоставима с его «потребительной стоимостью». В известном смысле приобретение в собственность престижного символа само по себе становится целью потребления – самоутверждения «рыночного человека».

Характерной чертой современного капиталистического рынка становится «избыточное разнообразие». Выбор между товарами дополняется выбором между рекламными символами, за которыми может стоять совершенно однотипный продукт. «Избыточное разнообразие» не расширяет, а ограничивает свободу покупателя, лишая его возможности свободно и компетентно принимать решения, создавая иллюзию выбора там, где его нет, и делая невозможным рациональный выбор там, где он возможен.

Похожее происходит также в политике и в сфере общественной мысли. Совершенно естественно, что в такой ситуации традиционные формулы «классовой борьбы», «социальных преобразований», «солидарности» и «народовластия» оказываются оттеснены на второй план новыми идеями, «раскрученными» в точном соответствии с принципами современной рекламы.

Чем более сфера идей становится разновидностью коммерции, чем более в нее проникают критерии и требования рынка, тем более калейдоскопичным делается чередование идеологических мод. Надо отметить, что началась эта тенденция со студенческой революции 1960-х годов. Радикализм «новых левых» отнюдь не был капризом избалованных молодых интеллектуалов, но, став формой массовой культуры в потребительском обществе, он был быстро освоен и использован рынком вместе с песнями «Beatles» и мини-юбками. Массовые увлечения той или иной идеей случались и ранее, это нормальное явление общественной жизни. Но массовая мода на неконформизм была новым явлением. Традиционно человек, разделявший господствующие идеи, мог легче сделать карьеру, занять видное место в правящих кругах. 1960-е годы привели к впечатляющей демократизации буржуазного общества, но одновременно создали условия для того, чтобы капиталистическая рыночная культура смогла интегрировать в себя идеи и символы социального протеста. Начиная с 1960-х годов, радикальные идеи оказались непосредственно вовлечены в сферу рынка. С одной стороны, рынок становится все более «виртуальным». С другой – идеология делается все более конъюнктурной (не в переносном, а именно в прямом смысле слова).

В 1930-е годы Антонио Грамши в «тюремных тетрадах» сформулировал концепцию «позиционной войны» в гражданском обществе, где доказывал, что культурное противостояние является не просто отражением общего конфликта труда и капитала, но и одним из ключевых фронтов, на котором может решиться судьба борющихся сил. Культурная альтернатива оказывалась важнейшей частью социального преобразования. По мере того, как углублялся кризис левого движения, идея альтернативной культуры все больше выходила на передний план, становясь самоценной. Создание новой (не обязательно уже пролетарской, но непременно антибуржуазной) культуры становилось в глазах многих левых не средством борьбы за изменение жизни, а ее целью.

Проблема в том, что новую культуру для избранного меньшинства можно создать, не преобразуя общество, комфортабельно устроившись в свободных пространствах, допускаемых самой буржуазной системой. Больше того, в той мере, в какой существует потенциальная возможность превращения творческих идей в «бренды», пригодные для продажи на рынке, система сама заинтересована в существовании подобных альтернатив. По существу, система получает доступ к бесплатному интеллектуальному ресурсу, над воспроизведением которого не надо трудиться.

Радикализм без цели

Все виды «альтернативной культуры» объединяет негативное отношение к «мейнстриму» – к нормам буржуазно-бюрократического общества, к ценностям массового потребления, навязываемых масс-медиа, к свойственным этой системе критериям успеха, к господствующим представлениям о счастье, сводящимся к карьере и «удачным покупкам». Альтернатива – это отказ либо вызов. А формы отказа, как и вызова, бывают самые многообразные, зависящие, в конце концов, только от нашей фантазии.

И все-таки, в чем состоит альтернатива? Объединена ли она какими-то ценностями, неприятием ценностей официальной культуры или только тем, что все эти явления официальной культурой на данный момент по каким-то причинам отторгаются? Четкого ответа на подобные вопросы идеологи «альтернативной культуры» никогда не давали. Отсюда и размытость, подвижность границ между «мейнстримом» и «альтернативой». Представители контркультуры постоянно сетуют, что «мейнстрим» поглощает, «ворует», переваривает их идеи и начинания. Хотя, с другой стороны, время от времени он и «изрыгает» из себя течения, которые, будучи в прошлом вполне официальными, могут при известных условиях обрести ореол оппозиционности и альтернативности. Так советский соцреализм не просто снова вошел в моду в начале XXI века, но и стал выглядеть как гуманистическая альтернатива рыночной культуре и бессодержательному формализму «современного искусства», предлагавшегося на больших официальных выставках¹¹⁷. А увлечение советскими плакатами 1930—1950-х годов стало в России просто повальным. То, что является «мейнстримом» в одном обществе, становится модной формой противостояния официозу в другом (сопоставим хотя бы китайский и французский маоизм 1970-х годов).

Исторически смысл альтернативы тоже меняется. В начале XX века братья Бурлюки пытались сбросить Пушкина с корабля современности. Радикальная культура противостояла традиции высокого искусства. Однако та же классическая традиция к началу XXI века сама по себе становится все более маргинальной. Не отрицая ее значения в принципе, «мейнстрим» с помощью «гламурных» журналов и массового производства коммерческой продукции систематически профанирует и подрывает классическую культуру. Музыка Моцарта используется для рекламы мыла, образы голландской живописи XVII века привлекают, чтобы повысить продажи элитных сортов кофе, а стихи тютчева читают по громкой связи в московском метро вперемежку с призывами заботиться о противопожарной безопасности и покупать «горящие путевки». Можно сказать, что Пушкина уже опустили за борт, хотя и с соответствующими почестями. В итоге поклонники поэзии «Золотого века» становятся такой же экзотической (а численно, возможно, меньшей) группой, нежели хиппи, растаманы и байкеры.

Общий пафос противостояния «мейнстриму» скрывает ключевой вопрос: что перед нами – альтернатива буржуазной культуре или альтернатива в рамках буржуазной культуры? На практике, конечно, имеет место и то, и другое. Более того, зачастую вопрос остается непроясненным и незадаанным для самих участников процесса, а потому и их собственные стремления, стратегии поведения и методы действия оказываются противоречивыми, двусмысленными, непоследовательными и, в конечном счете, саморазрушающими.

Столкнувшись в начале XX века с первым взрывом «альтернативной культуры», ортодоксальный марксизм характеризовал эти явления как различные формы «мелкобуржуазного бунта». Слово «мелкобуржуазный» в лексиконе тогдашних социал-демократов было

¹¹⁷ Показательным примером является выставка «Советский идеализм», прошедшая в России и Бельгии. См.: Советский идеализм. Под руководством Е. Деготь и А. Сысоенко. Брюссель – Москва, Europalia, 2005.

откровенно ругательным. Однако при более внимательном взгляде на проблему обнаруживаем, что независимо от эмоциональной окраски выводы «ортодоксальных марксистов» были вполне обоснованы.

Особенностью мелкобуржуазного сознания является как раз противоречивость, неспособность доводить собственную мысль до логических выводов (что порой компенсируется утрированным радикализмом политических лозунгов). Эта противоречивость порождена социальным положением мелкого буржуа – в одном лице «труженика и собственника» по Ленину, «маленького человека» русской литературы или просто социального Микки-Мауса по Эриху Фромму. Кризис Welfare State, государства «всеобщего» благоденствия, породил на Западе и новый тип – образованного и материально почти благополучного люмпена, которого система не может успешно интегрировать (не хватает рабочих мест, нет перспектив роста), но не решается и окончательно «опустить», предоставив собственной участи. Такое же противоречивое, мифологизированное и «мятущееся» сознание формируется у потерявшего опору советского интеллигента, превращенного неолиберальной реформой в образованного маргинала.

Взбунтовавшиеся дети Акакия Акакиевича требуют выдавать всем письмоводителям доброкачественные шинели. Им не нужны шинели для себя – им важен принцип! Это может быть бунт на коленях, а может быть самопожертвование героя-террориста. Образ нового мира остается размытым, ясно только, что в нем не должно быть места тем безобразиям буржуазно-бюрократического порядка, которые, собственно, и спровоцировали бунт.

Именно поэтому стиль оказывается важнее содержания, а ценностные различия между правыми и левыми критиками системы представляются не столь важными (знаменитый тезис о колебании мелкого буржуа от крайней реакционности к столь же отчаянной революционности был неоднократно доказан историей).

Поучительным примером может служить «Энциклопедия альтернативной культуры», опубликованная в 2005 году издательством «Ультра. Культура». Хотя сами авторы энциклопедии, безусловно, испытывают симпатию к левым и неприязнь к всевозможным ультра-правым, фашизоидным, националистическим и расистским идеологиям, они не видят основания, с помощью которого они могли бы исключить все эти глубоко им отвратительные тенденции из общего поля «альтернативы». Ведь на уровне стиля, форм поведения и даже социальной базы общие черты имеются. Такой подход был вообще типичен для идейной методологии издательства «Ультра. Культура». Работа этого издательства, возглавляемого выдающимся поэтом Ильей Кормильцевым, была настоящим прорывом для Российского книжного рынка, заваленного коммерческой макулатурой. Но то же самое издательство отличалось и крайней бессистемностью в выпуске книг, отсутствием четких критериев отбора произведений и катастрофической нестабильностью работы.

Духовный кризис постсоветского общества породил и вовсе «синтетические» явления в духе «оппозиционного патриотизма». С одной стороны, подобные идеологические конструкции предстают перед нами в выступлениях Геннадия Зюганова, упорно пытавшегося сочетать приверженность «коммунистической организации» с восторгами по поводу православной монархии. С другой стороны, мы видим политическое творчество Эдуарда Лимонова, у которого итальянский фашизм, правозащитный либерализм, русский национализм и большевизм комбинируются в единое сооружение как кубики из детского конструктора Lego. И зюгановщина и национал-большевизм обеспечивают своеобразный «синтез» доминирующих в постсоветской публицистике идей: черносотенного национализма, либерализма и сталинизма. Но в первом случае эти идеи предлагаются нам в уныло бюрократическом и консервативном, а во втором – в радикально-молодежном исполнении. При этом и национал-большевизм, и зюгановщина действительно альтернативны, но не в том смысле, что они представляют собой вызов сложившейся системе, а лишь в том, что они предлагают

две версии «оппозиционной политики», которые может использовать в тактических целях недовольная властью часть элиты.

Безобразия буржуазного мира отнюдь не обязательно относятся к сущности системы — они могут быть всего лишь ее побочными и случайными проявлениями. Допустим, запрет на курение марихуаны может уйти в прошлое так же, как «сухой закон» и сексуальный «строгий режим» в пуританской Америке, но общество, порождающее подобные запреты, останется стоять на прежнем экономическом и социальном фундаменте.

Мелкобуржуазный радикал, несомненно, ярый враг системы, но удары свои он направляет, как правило, не против ее основных столпов. Фундаментальные основы системы, режим частной собственности и корпоративного предпринимательства он почти никогда не атакует — либо оттого, что второстепенные проблемы (вроде запрета на курение марихуаны) занимают его больше, либо потому, что, прекрасно отдавая себе отчет в том, на чем основана ненавистная ему система, он не видит в себе (и в окружающем мире) силы, способной его изменить.

Крайним выражением подобного образа мысли уже в наше время становится постмодернизм, заявивший, что все противоречия системы равноценны, что вопрос о равенстве числа женских и мужских туалетов в здании британского парламента имеет, в сущности, такое же важное значение, как и эксплуатация рабочих или долги стран «третьего мира».

Разумеется, постмодернизм, будучи откровенной и наглой формой примирения с действительностью, был быстро исключен из мира «альтернативной культуры». Однако он, вне всякого сомнения, был ее логическим результатом, продуктом бунта 1960-х годов (и итогом его вырождения). Он лишь выявил в предельно гротескной форме общую проблему.

Альтернативная культура и соответствующие ей политические движения постоянно ведут только тактические битвы, не имея шансов на успех (поскольку эффективность тактической борьбы зависит от того, насколько она работает на решение общих стратегических задач, которые, по определению, не ставятся).

Возникают «тактические медиа» — без стратегической задачи. Отказ от борьбы за власть оборачивается готовностью оставаться в гетто и, главное, бессилием помочь большинству, для которого в этих гетто места физически нет. А индивидуальные представители гетто с удовольствием покидают его пределы, чтобы переселиться на страницы «гламурных» журналов, а то и в министерские кабинеты, подобно деятелям немецкой «зеленой» партии. Мир изменить все равно нельзя. Значит, можно изменить лишь жизнь для себя. Способы бывают разные. Можно уйти в сквот, а можно самому стать начальником. Между первым и вторым решением разница не так велика, как кажется.

Быть «вне системы» не значит быть «против». С таким же успехом «внесистемное» бытие может быть и жестким противостоянием, и мирным сосуществованием. Либеральный капитализм признает привилегию инакомыслия, другое дело, что она доступна лишь избранным. Интегрированные радикалы становятся одним из элементов (а может быть, и столпов?) системы.¹¹⁸

¹¹⁸ Подъем «альтернативной культуры» в 1960-е годы был связан с очевидным вырождением «классической левой», будь то социал-демократы или коммунисты. С тех пор вырождение старых партий стало еще более очевидным, приняв уже совершенно гротескные формы. Однако политические проекты альтернативного радикализма оказались еще менее успешными. Для того чтобы окончательно интегрировать партии и организации, порожденные рабочим движением, европейской буржуазии потребовалось около столетия, да и то нельзя говорить об окончательном успехе. А вот «зеленые» партии были «переварены» системой за какие-то 15—20 лет. Более того, несложно заметить, что эффективность «альтернативной культуры» строго пропорциональна эффективности «традиционных» левых партий, опирающихся на рабочее движение. Пока на сцене была революционная социал-демократия, в политике было место и для массовых анархистских течений. Реформистские левые правительства 1960-х годов сосуществуют с «новыми левыми». А крушение коммунизма и моральный крах социал-демократии сопровождался столь же массовой капитуляцией радикалов. Не добившись своих идеологических целей, старое рабочее движение все же смогло создать социальное государство. Потеря этих завоеваний в 1980—1990-е годы обернулась жизненной катастрофой для большинства человечества.

«Альтернативная культура» создает собственный закрытый мир, точнее миры. Каждый из них самодостаточен. Замыкаясь в них, их обитатель уже не слишком воспринимает окружающее пространство. Он полон иллюзий относительно всеобщего значения своей жизненной практики. Так, например, авторы «Энциклопедии альтернативной культуры» совершенно искренне убеждены, что марихуану курят все «повально и поголовно до (а многие иногда и после) 40 лет» или что движение хиппи в начале 1990-х годов включало в себя «почти всю более-менее мыслящую советскую молодежь». ¹¹⁹

Человек, живущий по правилам «альтернативного мира», уже настолько не интересуется пошлыми и банальными двуногими существами, которые стригут волосы и пьют водку, что попросту не замечает их или отказывает им в праве на разумность. Таким образом, неприязнь к буржуазной пошлости плавно переходит в квазиаристократическое презрение к тем людям (огромному большинству!), что *обречены* жить по законам системы.

«Альтернативщик» уже свободен, даже если для мира в целом система отрицаемых им запретов сохраняется неколебимо. Вопреки Ленину, он живет в обществе, стараясь по возможности быть свободным от общества. Но какой ценой? Бóльшая часть его энергии уходит на то, чтобы защищать свое пространство от вторжений «мейнстрима». Внешний мир остается предоставлен сам себе. ¹²⁰

Поведение такого радикала соответствует логике старого анекдота. Почему аист стоит на одной ноге? Потому что, если он и ее поднимет, то упадет. Там, где возможность стоять на двух ногах априорно отвергается, есть лишь альтернатива – стоять на одной ноге или падать. Иными словами, сопротивляться буржуазному миру или подчиниться ему. Вопрос о практическом изменении мира перед таким радикалом просто не возникает.

Итогом таких битв неизменно оказывается поражение. Причем лучшим вариантом становится поражение непосредственное, когда борец героически погибает, часто в прямом смысле, растоптанный системой. Куда худшим результатом оказываются победы «альтернативной культуры», в конечном счете, срабатывающие на усиление той самой буржуазной системы, против которой так яростно боролись. Рок-музыка поглощается индустрией телевидения, сексуальная революция наполняет своей энергией коммерческую рекламу, а порнография делается бизнесом со своими транснациональными концернами и финансовыми потоками.

Капиталистическая система, способная каждый раз поглотить и даже использовать в своих целях разрушительный потенциал бунта, выглядит мифическим всесильным чудовищем. Миссия «альтернативной культуры» заведомо невыполнима, враг непобедим. Со времен альбера Камю ключевым мифом левых становится Сизиф, героически продолжающий свое бессмысленное дело. Но с некоторых пор камень уже не скатывается с горы. Это расточительство, которое рациональная капиталистическая система позволить себе не может.

У современного Сизифа на вершине каждый раз отбирают камень. А из доставленных на вершину булыжников строится новое крыло старой тюрьмы. Правила игры определяют те, кто занимают стратегические «господствующие высоты». Иными словами, те, у кого в руках экономическая и политическая власть. Может, дело не в камне, а в горе? Иными словами, в социально-экономических структурах, которые могут и должны быть изменены сознательным политическим действием.

¹¹⁹ Альтернативная культура. Энциклопедия. Сост. Дм. Десятерик. Екатеринбург: Ультра. Культура. 2005. С. 93, 213.

¹²⁰ Разумеется, в рамках самой «альтернативной культуры» далеко не всегда наблюдается подобное самодовольство. Инстинктивные поиски выхода из политического тупика и расширения «социальной базы» повторяются на всем протяжении ее истории. Именно такой смысл имел символический «пролетаризм» новых левых, которые, будучи исключительно молодежно-интеллигентским движением, обожали говорить о «рабочей автономии», «пролетарской демократии» и т. п. «антиглобализм» тоже может рассматриваться как (не во всем удачная) попытка преодоления «альтернативности», когда радикальные группы вышли из своих гетто и обратились к массам, а заодно и друг к другу.

После каждого поражения бунт начинается снова. Он имманентен капитализму и постоянно меняет свою форму по мере развития буржуазного общества. В конечном счете, именно противоречивость мелкобуржуазного сознания несет в себе мощный творческий потенциал. «Мятущееся сознание» крайне плодотворно. Материал, из которого получается плохая политика, порождает великолепную культуру. Было бы очень скучно, если бы вместо «театра жестокости» Антонена Арто, сюрреализма, «нового Романа» и фильмов арт-хауса мы бы имели лишь бесконечный поток идеологически безупречных социально-критических произведений в стиле живописи «передвижников» или прозы позднего Диккенса и раннего Горького.

И все же неслучайно, как подметил Набоков, великие революционеры по большей части оказывались людьми вполне консервативных эстетических взглядов. Радикальный вызов системе становится эффективен лишь тогда, когда роли меняются. Альтернатива должна сама стать новым «мейнстримом», вобрать в себя формально признаваемую капиталистическим миром культурную традицию, одновременно разлагая и разрушая коммерческую «массовую культуру». С появлением общей цели и общего смысла тактика обретает стратегию, мятеж, закончившийся удачей, получает право на новое название.

Подобный переворот происходит только в процессе *социальной* революции. Это единственное, чего система не может переварить.

Постмодернизм и левые

Хотя «новые левые» начали с критики традиционного рабочего движения как «интегрированного в капитализм», их собственная политическая культура прошла тот же путь за значительно более короткий срок. Причем если рабочее движение, даже в своей реформистской форме, оставалось определенным альтернативным полюсом в рамках капитализма (иначе и быть не могло в силу естественных противоречий между интересами труда и капитала), то оторванная от рабочего движения радикальная культура интеллигенции быстро эволюционировала из революционной в конформистскую, фактически миновав реформистскую стадию. Начиная с середины 80-х годов, новые идеологические направления не просто быстро осваивались рынком, но зачастую с самого начала были ориентированы на него. Время молодежного бунта породило образы и подходы, которые можно развивать, комбинировать, на основе которых можно формулировать модные идеи точно так же, как кутюрье могут перекраивать до неузнаваемости «классическую» мини-юбку.

Как отмечает Американский исследователь том Франк, символический, ритуальный протест против «буржуазных ценностей» сам по себе стал рыночным символом, его можно купить и продать. Капитализм изменился больше, чем представления левых о нем. «Контркультурные идеи стали общим местом капиталистической культуры, стремящейся к постоянным переменам, новизне ради самой новизны. Это идеально соответствует культурно-экономическому режиму рынка, который требует постоянного обновления ассортимента. Стремление к самоутверждению и нетерпимость к традиции в сочетании с призывами к формированию экспериментальных жизненных стилей – все это часть потребительской культуры. Конформизм в старом смысле слова уже не обязательно является требованием потребительского общества. Как раз напротив, оно настойчиво требует чего-то нового, нестандартного. Реклама призывает не к пуританскому аскетизму, не к следованию протестантским ценностям, а к тому, чтобы погрузиться в стихию непрерывного самоудовлетворения. Она учит не дисциплине большинства, а агрессивному и постоянно трансформирующемуся индивидуализму. Потребляя, мы пытаемся изобразить из себя бунтарей, людей, стоящих выше толпы, звезд рок-н-ролла, героев 60-х годов. Ради этого мы покупаем дорогие машины, красивые ботинки и модные марки пива»¹²¹. В Восточной Европе эта связь между потребительским капитализмом, индивидуализмом и контркультурой молодежного бунта была еще очевиднее, ибо бунт никогда, даже в 1960-е годы, не был направлен непосредственно против капитализма. Западный капитализм имел свои традиции, восточноевропейский неолиберализм был отрицанием традиций коммунизма. Его философия была проста, органична и привлекательна: деньги открывают доступ в мир разнообразия, самореализации и свободы.

Постмодернистские идеологические концепции – в сущности, не что иное, как проекция рыночной ситуации избыточного разнообразия на общественную и политическую жизнь. Мир представляется пестрой мозаикой, следовательно, в рамках постмодернистского подхода содержание может меняться как узор в калейдоскопе. Старомодное социалистическое движение должно было уступить место новым социальным движениям, феминизму, движениям угнетенных национальных, культурных и сексуальных меньшинств, всему тому спектру разнообразных инициатив, что получил название «политики идентичности» (identity politics). Идеология социальных преобразований была направлена на будущее, самоутверждение позволяет жить настоящим.

¹²¹ Te Bufer. 1995. № 6. P. 15.

Сильная сторона постмодернистской критики марксизма состоит в том, что на первый план выдвигаются проблемы, в старой социалистической теории остававшиеся на втором плане, а то и вовсе затушевывавшиеся. Расовое, этническое, религиозное угнетение совершенно реально и не может быть просто сведено к «побочным эффектам капитализма», даже если в основе всего этого лежит именно эксплуатация труда. Точно так же реально и многообразно угнетение женщин. Наконец, мир труда становится все менее однородным, следовательно, и старые представления о «рабочем классе» должны быть пересмотрены.¹²²

Интеллектуальный шок, в который повергла социалистов постмодернистская критика, трудно переоценить. Однако, одержав верх над левым традиционализмом, постмодернистская теория столкнулась с собственными внутренними противоречиями. Политика самовыражения – *identity politics* – становится возможна благодаря идеологическому разложению рабочего социализма, когда единственной реальной альтернативой неолиберализму становится не тот или иной антикапиталистический или даже реформистский проект, а лишь радикально-демократическая интерпретация либерализма. Это закономерный результат эволюции части западной левой интеллигенции, которая, критически относясь к капитализму, не хотела или не могла соединиться с массовым рабочим движением. Далеко не всегда вивата была сама интеллигенция. Зачастую на первых порах причина отторжения интеллигенции от рабочих состояла как раз в том, что с точки зрения организованного рабочего движения левая интеллигенция была чересчур радикальна (а рабочие с точки зрения радикальной интеллигенции выглядели обуржуазившимися). Но, отказавшись от связи с рабочим движением, радикальная интеллигенция могла беспрепятственно смещаться вправо. Это сопровождалось глубоким кризисом самой интеллигенции. В то же время интеллигенция все более успешно интегрировалась в парламентскую культуру правой социал-демократии и одновременно способствовала еще большему сдвигу соответствующих партий вправо.

Как отмечает Доналд Сассун, радикализация студентов происходила на фоне деполизации рабочих. Даже в рамках «старых» социалистических партий рабочий уже не был центральной фигурой. «Политика стала делом “среднего класса”, хотя надо помнить, что сам “средний класс”, в отличие от начала века, был уже достаточно массовым»¹²³. Иными словами, социал-демократические партии все менее опирались на традиционное рабочее движение и все более становились выразителями интересов образованного «среднего класса», который, в свою очередь, рос численно и становился более влиятелен.

Другое дело, что по мере роста численности «среднего класса» меняется и его отношение к буржуазным элитам, возникают новые противоречия, которые, в конечном счете, способствовали новому всплеску радикализма в самом конце 1990-х. Однако эти новые радикальные движения были созданы уже представителями другого поколения, зачастую в остром конфликте с «обуржуазившимися» представителями культуры 1960-х, которые продолжали по инерции смещаться все дальше вправо.

Лозунг социального преобразования сменяется идеей расширения демократии. В различной форме эти идеи были сформулированы такими авторами, как Энтони Гидденс, Роберто Мангабиера Унгер, Ален Турен, Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф. Характерно, что при всех существенных различиях между ними, эту группу объединяет общая политическая динамика (слева направо) и общая тенденция идеологической эволюции. Парадоксальным

¹²² Надо отметить, что «широкое» и «узкое» понимание рабочего класса, наемного труда и пролетариата были одной из ключевых тем в дискуссиях советских обществоведов, начиная с конца 60-х годов. В 90-е годы этот вопрос стал восприниматься значительной частью исследователей как разновидность марксистской «схоластики», а потому отступил на второй план. Тем не менее, обсуждение этой темы можно найти в публикациях А. Глинчиковой, А. Колганова, А. Тарасова и А. Бугзалина. В то же время для западной социологии вопрос о классовом характере наемного труда вновь встал в полный рост именно в 1990-е годы благодаря технологической революции.

¹²³ *Sassoon D. One Hundred Years of Socialism. L. & N. Y., 1996. P. 392—393.*

образом, однако, призыв к расширению демократии сочетается с констатацией полного бессилия государства в условиях глобализации, что фактически означает крайне низкую оценку уже существующих демократических институтов.

В этом плане весьма показательна работа Энтони Гидденса «За пределами левого и правого» («Beyond Left and Right»). Окончательное поражение социализма, являющееся для Гидденса самоочевидным фактом, просто снимает с повестки дня борьбу за какие-либо системные преобразования. В этом смысле поражение революционного социализма фактически предполагает и отказ от реформизма, по крайней мере, в его привычной форме. Вместо этого нам предлагается набор лозунгов, идей и подходов, способствующих развитию демократии в рамках существующего порядка. Это должна быть «диалогическая демократия», которая уже «не концентрируется на государстве, хотя и соотносится с ним». Она «способствует демократизации демократии в рамках либерального государства»¹²⁴. Ключевым моментом новой радикальной политики является восстановление «духа сообщества» (community) и солидарности, причем все это, по мнению Гидденса, может быть достигнуто без изменения социальных и экономических структур, из-за которых и происходит разложение общественной солидарности за счет «политики жизненного стиля», которая придет на смену устаревшей социал-демократической политике жизненных возможностей.¹²⁵

Проблема в том, что различные сообщества (communities) зачастую объединяются не просто так, а для борьбы друг с другом на основе противоречивых экономических интересов. То же самое в еще большей мере можно сказать и про различные формы общественной солидарности. Тем самым, вопреки мнению автора, проект «диалогической демократии» далеко не автоматически подразумевает укрепление солидарности внутри вовлеченных в него групп. Легко догадаться, что субъектом гидденсовской диалогической политики является тот самый буржуазный индивид, который был неоднократно описан и проанализирован в работах раннего Маркса. Осознавая это, Гидденс призывает к заключению «соглашений в сфере образа жизни» («lifestyle pacts»), которые обеспечили бы гармоничное сосуществование «между бедными и богатыми». Развитие глобального потребительского общества должно быть дополнено возможностью альтернативного развития для жителей бедных стран¹²⁶. Проблема в том, что «альтернативное развитие», если к нему относиться серьезно, изымает из сферы капиталистического рынка ресурсы и рабочую силу – именно потому оно и может быть названо «альтернативным», а не дополняющим. Во-вторых, «глобальный потребитель» есть чистейшая социологическая фикция, нечто вроде средней температуры больных в палате. Несмотря на глобальную стандартизацию потребления, в мире существует не один, а сразу несколько потребительских стандартов, отражающих не только культурные, климатические и прочие различия, но и расслоение потребительского общества. И коль скоро альтернативное развитие и более справедливое распределение ресурсов (в том числе между отраслями экономики самих западных стран) не может не затронуть имеющегося порядка, возникает вопрос – за чей счет все это может быть сделано? Будет ли рост жизненного уровня в развивающихся странах компенсирован снижением заработной платы в Старом свете или элиты должны чем-то пожертвовать?

Легко заметить, что, несмотря на всю новую терминологию, перед нами не более чем повторное издание буржуазного радикализма середины XIX века, с его озабоченностью положением бедных, потребностью в расширении демократии и культурном самоутверждении представителей «среднего класса» при одновременном нежелании ставить вопрос о

¹²⁴ Giddens A. Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics. Cambridge: Polity Press, 1994. P. 113.

¹²⁵ Ibid. P. 14.

¹²⁶ Ibid. P. 196—197.

системных преобразованиях и классовом конфликте. Повторение пройденного – естественное явление для эпохи реакции. Существенно, однако, что старый радикализм готовил социализм, тогда как либеральный (или «постсоциалистический») радикализм конца XX века отражает ситуацию кризиса левого движения.

Практика identity politics, выглядевшая новаторской в конце 80-х годов, к 1999—2000 годам уже стала достаточно привычной частью общественной жизни западных демократий. При этом можно подвести определенные итоги. Увы, достижения сторонников identity politics отнюдь не являются впечатляющими. Главным видимым успехом можно считать утверждение в левых кругах новой нормативной лексики – «политкорректного» языка. Этот политически корректный язык, соединенный с академическим новоязом, не позволяет выразить простые человеческие чувства и потребности, ясные и конкретные требования, становясь своеобразным жаргоном посвященных. Авторы обстоятельной «Энциклопедии Американских левых» даже вынуждены были уделить несколько абзацев разъяснению «часто неясной левой терминологии»¹²⁷. И это при том, что энциклопедия предназначена все же для специалистов.

Становится принципиально важно, чтобы негров называли «афро-американцами», инвалидов – «людьми с ограниченными возможностями», а обобщение «граждане» непременно должно дополниться уточнением: «и гражданки».

Стюарт Холл и позднее Фредерик Джеймсон очень удачно назвали полемику постмодернистской левой против старого марксизма «дискурсивной борьбой»¹²⁸. В этом случае словесные ассоциации и образы фактически заменяют аргументы. Достаточно закрепить положительные или отрицательные ассоциации за теми или иными словами и можно простым употреблением их «доказать» все что угодно. Хорошие слова – «гражданское общество», «ассоциация», «диалог», плохие слова – «государство», «централизация», «контроль» и др. Что стоит за этими словами, уже не имеет значения. При этом, например, невозможно объяснить, что одни технологические процессы предопределяют необходимость централизации, а другие, напротив, с ней несовместимы.

Постмодернистский радикализм обещал выйти «за пределы тотализирующих понятий капитализма и классовой борьбы, характерных для классического марксизма». Политическим результатом этого станет «новый тип классовой борьбы, основанный на всем разнообразии повседневного жизненного опыта, демистификация великих нарративов революции».¹²⁹

Отвергая «тотализацию» во имя конкретного, постмодернизм по-своему прав. Не потому, что всякая «тотализация» – тоталитарна (это не более чем игра слов, возможная, кстати, только в западных языках). Просто любое обобщение можно разложить, лишив всякого смысла. «Антитотализационный» пафос постмодернистской левой, будучи порождением интеллектуалов, в своей основе антиинтеллектуален. Борьба против «тотализации» на самом деле является борьбой против традиционного научного мышления и, в конечном счете, против научного мышления как такового.

¹²⁷ Encyclopedia of the American Left/ Ed. by M. J. Buhle, P. Buhle, D. Georgakas. N. Y. – L., 1990. P. 12.

¹²⁸ См.: F. Jameson. Actually Existing Marxism. In: Beyond Marxism. Ed. by S. Makdisi. C. Casarino, R. E. Karl. N. Y., 1996.

¹²⁹ Socialist Review (S. F.), 1995, v. 25, № 3—4. P. 4.

Феминизм и постмодернизм

Теория имеет какой-то смысл, лишь в том случае, если осмысляет и переосмысляет конкретную практику, не различные «нарративы». Показательно, что пока радикальная постмодернистская интеллигенция пыталась переосмыслить «великие нарративы», в профсоюзах США происходили весьма глубокие сдвиги, способствовавшие возвращению организованного рабочего движения в политическую жизнь. Эти сдвиги, однако, просто не были замечены радикальной постмодернистской социологией. И это закономерно, ибо символическое место пролетариата, берущего на себя всемирно-историческую миссию освобождения человечества, в новой системе ориентиров заняли угнетенные группы и меньшинства – расовые, религиозные, национальные, сексуальные. Все они равноценны и равнозначны, никто не может претендовать на «руководящую» или «историческую» роль. Причем именно принадлежность к меньшинству является своеобразным признаком избранности (и одновременно угнетенности). И все же особое место в иерархии «меньшинств» заняли женщины, хотя, строго говоря, они являются как раз большинством.

Феминистская политика в наибольшей степени соответствовавшая критериям постмодернистской идеологии, в 1970-е и 1980-е годы была на подъеме. Исходные положения, общие для всех направлений феминизма, практически бесспорны. Во-первых, большая часть истории была временем господства мужчин и дискриминации женщин. Эта дискриминация лишь сравнительно недавно была формально осуждена обществом с достижением гражданского равноправия, но не более того. Во-вторых, преобладание мужчин в общественной жизни не могло не отразиться на господствующих социальных теориях, недостаточно принимавших во внимание интересы и взгляды женщин. Подобная критика может быть отнесена и к «классическому марксизму», хотя ряд авторов очень высоко ставит работы Фридриха Энгельса, подготовившие современный феминизм.

Между тем, заявляя свою цель в широком смысле как защиту интересов, прав и взглядов женщин, феминистское движение претендует на право говорить от имени массы, которая просто не существует в реальности: женщины принадлежат к разным классам и культурам. Противоречия между женщинами, входящими в противостоящие социальные группы, никак не меньше, чем соответствующие противоречия среди мужчин, они перевешивают любые формы «женской солидарности». В результате, с одной стороны, феминистская теория и соответствующее движение расслаивается на множество потоков, не только конфликтующих, но и совершенно несовместимых. А с другой стороны, именно «феминизм» отражающий настроения, идеалы и интересы женщин, принадлежащих к господствующим в обществе слоям и классам, становится господствующим видом феминизма. Начав с призывов к надклассовой солидарности женщин, такой феминизм все более становится выражением социального эгоизма представительниц западной буржуазной элиты.

«Сам по себе успех движения придает дополнительный вес его сторонникам, обеспечивает им позиции в академической системе, государственной бюрократии, парламенте, суде и, в меньшей степени, в руководстве корпораций. Это легитимизирует подобный «феминизм», одновременно вытесняя другие взгляды», – пишет Австралийская журналистка Пэт Бруер¹³⁰. Однако политический успех преходящ, как и мода, особенно если он не закреплен структурными преобразованиями в обществе. Достижения феминизма были поставлены под вопрос неоконсервативной волной 1990-х.

Одним из важных направлений постмодернистского радикализма является критика «европоцентристской» традиции Просвещения (включая марксизм, традиционную социал-

¹³⁰ Links. 1996. July-October, № 7. P. 22.

демократию и даже идеологию национального освобождения в «третьем мире»). В то же время сторонники подобных взглядов крайне нетерпимо относятся к не-западным культурным традициям, отвергающим постмодернизм, права меньшинств и т. д.

Далеко не во всех культурах были восприняты с энтузиазмом представления о свободе и самоутверждении, пропагандировавшиеся феминистскими идеологами. И самое главное, далеко не все женщины, страдающие от дискриминации и готовые бороться с ней, склонны были разделять культурные и политические стратегии представительниц западного «среднего класса», выразивших свое мироощущение в радикальном феминизме.

Существует принципиальная разница между историческим женским движением XIX и первой половины XX века и западным феминизмом в том виде, в котором он сложился к 70-м годам. Показательно, что импортированный в страны бывшего советского блока западный феминизм никак не был связан с богатой революционной традицией русского женского движения начала века (наиболее ярким примером могут послужить взгляды и деятельность Александры Коллонтай).

Для того чтобы одновременно показать преемственность и отличие по отношению к женскому движению начала XX века, стал использоваться термин «новый феминизм» или «феминизм второй волны»¹³¹. Раньше ключевой идеей было равенство, теперь «особенность», идентичность.

Коль скоро речь все-таки идет уже не о феминизме, а о феминизмах, сама по себе феминистская «идентичность» оказывается двусмысленным и дезориентирующим политическим лозунгом. Похвальное стремление левых воспринять феминистскую критику старого социализма и переосмыслить собственные подходы в конечном счете привело к некритическому заимствованию идеологии и лозунгов либерального женского движения.

Если подъем борьбы за права женщин в начале XX века был тесно связан с общим подъемом демократических и социалистических движений, то расцвет «нового феминизма» – с их упадком. Десятки тысяч молодых людей из преуспевающих семей были политизированы и радикализированы событиями 1960-х годов, но это продолжалось недолго. С поражением «новых левых» стала меняться политическая культура «среднего класса». Для многих участников студенческих выступлений это означало отказ от радикализма, но не уход из политики. Поэтому не случайно, что подъем нового феминизма совпадает с упадком движения «новых левых».

Феминизм стал важным фактором политизации женщин, особенно в среде образованного «среднего класса». Но уже в конце 1970-х многие активистки феминистского движения обратили внимание на присущие ему (как и другим гражданским движениям) слабости и противоречия. «Предположим, рабочие будут протестовать только против боссов, женщины только против сексизма и дискриминирующего их разделения труда, черные лишь против расизма – подобная борьба имела бы смысл лишь в обществе, где все не было бы институционально взаимосвязано, где не было бы единой системы государственной власти. Но это просто не так, общество интегрировано единой культурой и единой системой производства, а потому частичные решения не получаются», – писала Хиллари Уэйнрайт в 1979 году¹³². Сложность в том, что даже тогда, когда частичное решение возможно, проблемы одних угнетенных групп могут быть решены за счет других.

Массовое феминистское движение меняло баланс сил в обществе и, несомненно, обладало значительным освободительным потенциалом. Однако исследования западных социо-

¹³¹ О принципиальных различиях между женским движением и феминизмом конца XX века см.: Современная западная социология/Под ред. П. Монсона, СПб., 1992; *Feminism. The Essential Historical Writings*. Ed. by M. Schneir. NY, 1972; *Feminism and Socialism*. Chippendale, Australia, 1992. См. Также: Глушенко И. Женское счастье// Независимая газета. 17 марта 1993.

¹³² Rowbotham Sh., Segal L., Wainwright H. *Beyond the Fragments*. Merlin Press, 1979. P. 4.

логов показывают, что успехи в социальном самоутверждении женщин «среднего класса» пришлось на период, когда в значительной мере были утрачены завоевания рабочего движения и ухудшились позиции черного меньшинства в Соединенных Штатах. Иными словами, отсутствие солидарности способствовало тому, что одни движения были фактически использованы в качестве инструмента против других.

Новые социальные движения

На фоне общего кризиса левой политики в 1980—1990-е годы проблемы, порожденные новыми социальными движениями, не только не были разрешены, но, напротив, стали глубже. Хотя именно социалисты наиболее настойчиво отстаивали на протяжении XX века права меньшинств и интересы женщин, далеко не всегда реальные сдвиги здесь были связаны с поворотом влево. То же самое произошло и с экологическим движением, которое в начале 1980-х представлялось новой, постиндустриальной формой антикапиталистической оппозиции. Как отмечает Сассун, «в основе “зеленой” идеи лежит представление о том, что надо регулировать и ограничивать капиталистические фирмы и установить в обществе некие общие, — то есть коллективистские — цели, такие как улучшение окружающей среды. Идеологически это гораздо более приемлемо для левых, чем для правых».¹³³

Между тем реальное экологическое движение не сближалось с социализмом, а, напротив, все более удалялось от него. Причиной была слабость самих левых партий, которые стремились не столько переосмыслить социализм через призму экологических идей, сколько спрятаться за них. Несостоятельной оказалась и претензия экологических движений на то, чтобы встать «выше традиционного деления на правых и левых». Рассуждения о том, что разрушение окружающей среды одинаково затрагивает и богатых и бедных, свидетельствовали лишь о нежелании лидеров движения всерьез ставить вопрос о системных причинах экологического кризиса, о связи между разрушением природы и экономической логикой капитализма. Стремление части экологов уйти от вопроса о капитализме и социализме привело к политическим проблемам внутри движения. К концу 1990-х кризис «зеленой» идеологии стало невозможно скрывать. Как справедливо отмечает Норберто Боббио, становится все более очевидным, «что развитие экологических движений не сделает традиционное деление на левых и правых анахронизмом, поскольку деление на левых и правых воспроизвелось внутри самого “зеленого” движения, и без того раздираемого противоречиями».¹³⁴

Движения за права этнических и культурных меньшинств столкнулись с теми же противоречиями. В традиционном марксизме господствовала идея об однородности, порождаемой капиталистической фабрикой. На самом деле даже в рамках индустриальной экономики сосуществовало несколько типов организации и несколько производственных культур. Российское социалистическое движение обнаружило это в начале XX века, когда появился еврейский рабочий союз — «Бунд». Это была одна из первых левых организаций, построенных не на территориальной, а на этнической основе. С одной стороны, «Бунд» появился ранее общероссийской социал-демократической партии и стал ее прообразом (неслучайно многие активисты «Бунда» впоследствии сыграли важную роль в партии меньшевиков). А с другой стороны, организация еврейских рабочих имела свои отличительные черты. В то время как русские и украинские рабочие были сосредоточены на крупных производствах, еврейские рабочие преобладали на мелких, полуремесленных предприятиях. Этническая солидарность в сочетании с классовой позволила быстро организовать партию, но в дальнейшем «Бунд» столкнулся со сложными противоречиями: он не мог достичь своих целей вне более широкого социал-демократического движения и одновременно постоянно старался внутри этого движения обособиться в качестве «единственного представителя еврейского пролетариата»¹³⁵. «Бунд» стал предметом острых споров, дискуссия «о месте “Бунда” в пар-

¹³³ Sassoon D. Op.cit. P. 440.

¹³⁴ Bobbio N. Op. cit. P. 11.

¹³⁵ См.: второй съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959. С. 320 и др.

тии» переросла на II съезде российской социал-демократической рабочей партии в раскол между большевиками и меньшевиками.

Этническое разделение труда – реальность капитализма. Капиталистическая система воспроизводит различные идентичности и нуждается в них. Их поддержание, развитие и укрепление есть важнейший элемент управления социальными и производственными процессами. Разумеется, идентичности подвижны, но и экономика меняется. Социалистические организации, идеализируя и воспроизводя «дисциплину фабрики», во многом тоже содействовали воспитанию рабочей силы для капиталистического производства. Но одновременно, утверждая принципы солидарности и взаимопомощи, они бросали вызов системе. Напротив, identity politics способствуют закреплению сложившейся ситуации. Они консервативны.

Противоречия между женским движением и движениями этнических меньшинств, между группами гомосексуалистов и представителями религиозно-культурных меньшинств совершенно естественны. И чем больше будут развиваться подобные движения, тем больше противоречия будут усиливаться. Призывы к солидарности ничего не дают, ибо, в отличие от солидарности старого рабочего движения, здесь отсутствует общий интерес и общая идея. Солидарность оказывается механической – в борьбе с общим противником. Истеблишмент все более успешно использует подобные движения друг против друга и против левых сил в целом.

Сторонники identity politics убеждены, что, выступая против угнетения своей группы, они содействуют общей эмансипации. Но эмансипация – процесс не механический, и здесь ответы не обязательно складываются из суммы слагаемых. Угнетение связано с разделением, что и отражает сложившиеся идентичности. Политика, направленная на кристаллизацию различий, а не на консолидацию общих интересов, практически способствует деклассированию наемных работников.

Самоутверждение и солидарность

Историческая проблема социализма состоит в том, что, выступая выразителем интересов индустриального рабочего класса, он одновременно стремился быть движением, отстаивающим права всех угнетенных. Теоретическое обоснование этому дано Марксом и Энгельсом уже в «Коммунистическом манифесте», где говорится о пролетариате как наиболее угнетенном классе, потому и способном к наиболее решительной борьбе против любых форм угнетения и эксплуатации. В этой широкой социальной миссии левых, один из источников их силы, их способности объединить вокруг себя значительные массы людей не только в развитых капиталистических государствах, но и в странах периферии. Но здесь же – источник проблем и противоречий. В конечном счете, именно отсюда возникает первый импульс к замене классовой политики identity politics.

Стремясь сочетать марксистский анализ с концепциями, доминирующими среди западных радикальных интеллектуалов, идеолог немецкой Партии демократического социализма Андре Бри пишет про необходимость «освободить» от господства капитала «разнообразие, неоднородность¹³⁶ и противоречивость¹³⁷ современных обществ и экономик»¹³⁸. Между тем неоднородность современного общества не существует сама по себе, она возникла и сложилась именно в рамках капитализма, отражает его проблемы и противоречия, точно так же, как «многообразие» феодального или кастового обществ отражали соответствующие формы господств и угнетения. Упреки по адресу марксизма в том, что, сводя общественное развитие к борьбе классов, он игнорирует многообразие социальной и культурной жизни, раздавались еще в 20-е годы. В своих рукописях 1937 года Николай Бухарин попытался ответить на эту критику, заявив, что проблема несводима к противопоставлению «многообразия» и «единообразия». «Есть различные КАЧЕСТВЕННО многообразия, различные их ТИПЫ, различные ИЗМЕРЕНИЯ многообразия, различные виды его отношения к ЕДИНСТВУ»¹³⁹. Противопоставляя хаос звуков и симфонию (любопытно, что такое же сравнение возникло в «тюремных тетрадах» Антонио Грамши), Бухарин заявлял: «Капиталистическое многообразие разделяет людей». В сущности «все это есть ПОДЛОЕ МНОГООБРАЗИЕ, означающее УБОГОСТЬ жизни для миллионов, ее крайнее ОДНООБРАЗИЕ».¹⁴⁰

В отличие от Бухарина, Грамши считал, что хаос звуков, возникающий при настройке оркестра, необходим для того, чтобы возникла симфония: звуки в обоих случаях одни и те же, вопрос лишь в том, как они организованы. Впрочем, несмотря на типичное для него упрощенное противопоставление (хаос – симфония), Бухарин прав по отношению к своим оппонентам: многообразие само по себе не является ни благом, ни «богатством» общества.

Превращение широкого левого движения в сумму «специфических» движений не гарантирует даже поддержки соответствующих «специфических» групп, которые вполне могут найти другие способы самоорганизации и самовыражения. Нужно не механическое «объединение», а сотрудничество на основе стратегической инициативы. Речь идет не о механическом руководстве «специализированными» движениями и «фронтами партии» («front organizations»), практиковавшемся во времена Коминтерна. Напротив, ключевым вопросом трансформации левого движения в XXI веке является создание новых возможностей и перспектив, которые различные группы и силы будут использовать само-

¹³⁶ Heterogenitaet

¹³⁷ Gegensatzlichkeit

¹³⁸ Бри А. *Op. cit.* S. 126.

¹³⁹ Бухарин Н. *Тюремные рукописи* / Под ред. Г. а. Бордюгова и С. Козна. М., 1996. Т. 1. С. 126.

¹⁴⁰ Там же. С. 133, 126.

стоятельно. Это действия могут создать в обществе резонанс, стимулируя эскалацию требований и самоорганизацию (как во время революции 1905 года в России, где были революционные партии, но не было «авангарда»).

По мере того, как противоречия identity politics становятся все более очевидными, возникает потребность в межэтнической и межгрупповой солидарности. Так, некоторые авторы стремятся предложить новый, более широкий подход, предполагающий поиск новых, объединяющих «идентичностей»¹⁴¹. Однако это выдает как раз кризис identity politics. Идентичность вообще невозможно конструировать искусственно – иначе она оказывается плодом воображения или результатом сознательного сговора политических карьеристов. Если идентичность можно произвольно менять, переосмысливать, включать (следовательно, и исключать) те или иные категории людей, это значит, что эти «identities» имеют мало общего с реальной идентичностью людских масс. В действительности идентичность складывается исторически, изменяется очень медленно под влиянием коллективного и личного опыта.

Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф подчеркивают, что единство должно быть достигнуто через «гегемонию демократических ценностей» и таким образом, чтобы обязательно обеспечивалось «равновесие между разными видами борьбы»¹⁴². Проблема в том, что при всей необходимости защиты прав той или иной ущемленной группы, для общества их проблемы не равнозначны. Именно поэтому любая серьезная стратегия предполагает выделение *главных* противоречий и стратегических общих задач, решая которые мы получаем *возможность* решить и другие. Иными словами, стратегия – это *иерархия* целей. Вопреки представлениям революционеров прошлого, победа на одном фронте не обеспечивает автоматически победу на другом – так, эмансипация трудящихся *сама по себе* еще не есть решение «женского вопроса». В этом смысле феминистская и постмодернистская критика старого социализма закономерна и справедлива. Но иерархия целей все равно неизбежна, ибо без нее невозможно преобразование сложных и взаимосвязанных структур.

Исторически общая демократическая и «гражданская» культура как раз складывается в результате совместной борьбы. А представление о равноважности всех движений исключает возможность гегемонии.

К середине 1990-х годов из наступательных стратегий концепции «радикальной демократии», «политики идентичности» и «самоутверждения» (affirmative action) превратились в оборонительные. Неолиберальная политическая стратегия включала в себя поощрение «многообразия» в рамках «открытого общества», но лишь до тех пор, пока «многообразие» и культурный плюрализм были необходимы в качестве средства борьбы против «унифицирующего» и «обезличивающего» коммунизма и традиций социал-демократического рабочего движения. В условиях второй половины 90-х годов отношение элит к различным программам, направленным на защиту специфических интересов меньшинств, изменилось. С одной стороны, коммунизм побежден в мировом масштабе. А с другой стороны, благодаря экономической либерализации и приватизации количество ресурсов, которые можно отвлекать на любые социальные и культурные программы, резко сократилось. С точки зрения идеологии неолиберализма, любые интересы наилучшим образом могут быть реализованы через рыночный механизм, а любые программы и меры, противоречащие естественному функционированию рынка, в лучшем случае неэффективны, а в худшем случае наносят вред тем самым слоям, которым должны помочь. Иными словами, программы борьбы с бедностью наносят ущерб самим же бедным (снижая их конкурентоспособность на рынке и стимулы к труду, то же относится к женщинам, неграм, гомосексуалистам и т. д.). В такой ситуации из способа исправления несправедливости общества «позитивная дискриминация», поли-

¹⁴¹ См.: Marable M. Race, Identity and Political Culture. Цит. по: Socialist Review (S.F.). 1995. № 2. P. 48.

¹⁴² Mouffe Ch. The Return of the Political. L., 1988. P. 19, 18.

тика самоутверждения и т. д. превратились в попытку сдержать неоконсервативную волну и сохранить завоеванные позиции для конкретных групп. Приход к власти социал-демократов в Англии и Германии мало изменил ситуацию по существу. Хотя администрация Тони Блэра в Британии официально взяла на вооружение целый ряд идей, сформулированных идеологами «радикальной демократизации» и постмодернистской левой, на практике это выразилось лишь в резком увеличении числа женщин в лейбористской фракции парламента. Одновременно социальные программы, затрагивающие интересы работающих женщин, продолжали урезаться.

Фрэнсис Фукуяма, заявивший, что конец коммунизма является и концом истории, предупреждал, что через некоторое время история может начаться снова. Данное пророчество сбылось значительно быстрее, чем хотелось бы его автору. Если исторический процесс продолжается, то неизбежно встает и вопрос об альтернативах неолиберализму и капитализму, ибо ничто не вечно, а развитие общества невозможно отменить декретом. Точно так же встает и вопрос об актуальности марксизма как теории исторического анализа, на основе которой могут быть сформулированы политические стратегии левых. После краха «социального государства» мир не стал ни стабильнее, ни справедливее, ни даже свободнее, ибо превращение насилия в норму общественной жизни обесценивает гражданские свободы. Но, обличая пороки нового мирового порядка, левые не решаются противопоставить им собственную идеологию. Американец Роджер Бербак и никарагуанец Орландо Нуньес видят единственную альтернативу неолиберализму в стихийных движениях, выражающих базовые потребности народа. Новое, более справедливое, общество «родится из соединения разных национальных, этнических и культурных движений по всему миру». ¹⁴³

Показательно, что Бербак и Нуньес сознательно не упоминают социальных движений. Им кажется вполне естественным, если экономические преобразования будут результатом культурных требований. Социальную солидарность заменяет культурно-этническая. Несмотря на то что многие из этнических движений откровенно реакционны, левые не находят в себе сил осудить их, ибо сами потеряли психологическую и моральную опору, которую раньше давало им порой упрощенное, но достаточно ясное видение мира, сформировавшееся в рамках марксистской традиции. Без привычных принципов социализма у них уже нет ни четких критериев прогрессивности и реакционности, ни даже серьезного представления о той роли, которую подобные движения играют в системе мирового порядка/беспорядка.

С другой стороны, часть западных авторов подчеркивает необходимость, переосмыслив теорию классовой борьбы с точки зрения постмодернистской критики и опыта новых социальных движений, все же сохранить классовый подход. «Признавая, что различные идентичности и социальные движения не могут быть сведены к классовой борьбе, марксисты одновременно могут ответить на вопрос о том, как различные формы социальной, культурной и этнической идентичности влияют на характер классовой эксплуатации. На этой основе мы сможем понять, каким образом новые социальные движения могут способствовать радикальным переменам и освобождению трудящихся». ¹⁴⁴

¹⁴³ *Burbach R., Nuñez O., Kagarlitsky B. Globalisation and its Discontents. The Rise of Postmodern Socialism. L. – Chicago, 1997. P. 145.* Будучи одним из соавторов книги, в своей главе о Восточной Европе я попытался предложить иное видение альтернативы. Эти очевидные противоречия в тексте (отчасти отмеченные в предисловии Бербака), однако, придали книге еще более постмодернистский вид. Австралийский рецензент книги Пол Кларк не без ехидства заметил: «Довольно странно участвовать в сочинении книги, с которой ты принципиально не согласен, но так получилось» (*Green Left Weekly*, May 19. 1997. P. 25). Беда в том, что острота и непримиримость противоречий между постмодернистскими интерпретациями социализма и марксизмом стали для меня очевидны именно в процессе работы с Бербаком и Нуньесом. Более подробно мои разногласия с Бербаком и Нуньесом были изложены в книге *Kagarlitsky B. New Realism, New Barbarism. L.: Pluto Press, 1999.*

¹⁴⁴ *Marxism in the Postmodern Age: Confronting the New World Order/ Ed. by A. Callari, S. Cullenberg, C. Biewener. N. Y. & L.: Guilford Press 1995. P. 7—8.*

Для Маркса и социалистов первой половины XX века было очевидно, что далеко не любой протест против капитализма прогрессивен. Марксистская традиция, с одной стороны, признает историческую роль капитализма как силы, способствовавшей развитию современных форм жизни. А с другой стороны, социалисты были убеждены, что до тех пор, пока борьба против угнетения не будет одновременно борьбой за новое общество, она обречена на поражение. Отказ от марксистской традиции и теории социального прогресса неизменно сопровождается критикой содержащихся в них «утопических элементов». Вне зависимости от того, насколько представления Маркса о социализме формировались под влиянием его утопических предшественников, оценка социалистического проекта как «утопии» вовсе не означает искоренения утопизма в массовом сознании. Дискредитация прогрессивного утопизма на уровне массового сознания всегда имеет только одно неизбежное последствие: его место занимает реакционная утопия.

Главной заслугой социал-демократии на рубеже XIX и XX веков Ленин считал соединение марксизма с рабочим движением. Как представитель просветительской традиции он был убежден, что пролетарское сознание просто вносится в массы интеллигенцией. На самом деле, как это отмечал еще Плеханов, процесс был обоюдным. Массы не могут разрабатывать теорию, но без связи с массовым движением теория мертва. Став идеологией рабочего движения, сами идеи Маркса пережили трансформацию, стали марксизмом.

Совершенно естественно, что теоретики, как правило, оказываются радикальнее практиков. Еще Маркс делал различие между компромиссом в политике и в мышлении. Если для политика компромисс допустим, то мыслителя должен предохранить от него «простой моральный такт»¹⁴⁵. Политика – это искусство компромисса, и уже в этом заложена возможность «развода» между теорией и практикой. Конкретные действия Ленина, Троцкого или Грамши далеко не обязательно вытекали из их теоретических построений (что, кстати, великолепно иллюстрируется контрастом между их собственными текстами, написанными в «периоды действия» и в «тюрьменно-эмигрантские» периоды). Однако для представителей классического марксизма практическое действие все же оставалось тесно связано с теоретическим поиском. В послевоенный период эта связь оборвалась.

Марксизм действительно потерпел историческое поражение, но не в конце 1980-х годов, когда рухнула Берлинская стена, а гораздо раньше, когда теория вновь отделилась и изолировалась от движения. Это произошло не только на Востоке в ходе создания сталинского «марксизма-ленинизма». На Западе академический марксизм уже в 30-е годы стал достоянием университетских кружков, тогда как общие «классические» формулы остались не более чем мертвым ритуалом для социал-демократии и коммунистических партий.

В 1990-е годы ритуалы были отброшены. Сделать это было легко именно потому, что никто уже давно не задумывался об их смысле. Мы вернулись к исходной точке, когда теория и массовое движение разобщены. Но они не разделены непреодолимой стеной. Из того, что значительная часть трудящихся имеет смутное представление о социалистических идеях, вовсе не следует, будто эти идеи невозможно успешно проповедовать.

¹⁴⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 16. С. 31.

«Автономный марксизм»

Меняющаяся политическая ситуация вела и к смене интеллектуальной моды. Если в начале 1990-х популярностью пользовались постмодернистские авторы, то десятилетие спустя бестселлерами становились книги, обильно сдобренные марксистской терминологией. Алекс Каллиникос ехидно заметил, что после начала нового подъема левого движения «постмодернизм стал историей»¹⁴⁶. Это течение еще сохраняется в качестве реликтовой интеллектуальной формы, но лишь потому что на протяжении 1990-х годов оно успело пустить корни во многих Американских университетах.

Однако до окончательного крушения постмодернизма было еще далеко, да и о «возвращении» марксизма говорить было рано. Интеллектуальным бестселлером начала XXI века стала «Империя» Майкла Хардта и Антонио Негри, авторы которой объявляли себя последователями марксистской традиции, но переосмысливали ее в духе идей «автономизма» 1970-х годов. Для «левого» постмодернизма появление книг Хардта и Негри было чем-то вроде «жизни после смерти». Объявив себя последователями Маркса, модные писатели, по существу, взяли за основу своей конструкции набор постмодернистских идей, прямо противоположных марксизму.

До появления книги Хардта и Негри говорить о существовании какой-то особой «автономистской» теории не приходилось, хотя в качестве общественного движения «автономное действие» было реальностью в Германии, Италии и других западных странах. Как и многие другие общественные течения 1970-х годов, оно было порождено поражением революции 1968 года. «автономные» группы негативно относились к историческим левым партиям, причем эта неприязнь к парламентской политике превращалась у них в отрицание организованной политики как таковой. Вместе с партиями и политической борьбой ненужным становилось и стратегическое мышление, что предопределяло, в конечном счете, и отсутствие систематической теории. Заменой им служило непосредственное действие, не обремененное тактическими соображениями и стратегическими концепциями. «Побочным детищем» идеологии «автономизма» принято было считать левый терроризм конца 1970-х годов, и в качестве одного из его вдохновителей Тони Негри отбыл в Италии тюремное заключение.

Однако в условиях подъема «антиглобалистской левой» теоретики «автономизма» выступили с обобщающей теоретической работой, претендующей на то, чтобы стать своего рода новой версией (или заменой) марксизма и адресованной не только своим традиционным сторонникам, но и всему массовому движению. Одновременно с Хардтом и Негри собственную версию «автономного марксизма» предложил и Джон Холлоуэй в книге с говорящим за себя названием «Изменить мир, не беря власть».¹⁴⁷

Сразу приходится оговориться, что термин «марксизм» по отношению к работам Холлоуэя, Хардта и Негри можно применять лишь постольку, поскольку они сами на связи с марксистской традицией настаивают. Но дело, разумеется, не в том, в какой мере эти авторы «верны» идеям Маркса, а в том, какие ответы они дают на вопросы современности.

Холлоуэй, Хардт и Негри заявляют себя сторонниками не просто левых идей, а именно коммунизма, о котором пишут с неизменным поэтическим пафосом. «Коммунизм – это море, к которому текут все реки», – торжественно заявляет Холлоуэй¹⁴⁸. Но в то же время коммунизм – это «утопическая звезда», которая ведет нас к этому морю (хотя не совсем понятно,

¹⁴⁶ Каллиникос А. Антикапиталистический манифест. М. Праксис, 2005. С. 21.

¹⁴⁷ См.: Holloway J. Change the World Without Taking Power. New edition. L.: Pluto Press, 2005.

¹⁴⁸ Ibid. P. 244.

зачем нужна путеводная звезда тем, кто просто плывет по течению?)¹⁴⁹. В этой логической (фрейдовской) оговорке Холлоуэя содержится вся суть автономистской идеологии. Ведь речь идет не просто об отказе от борьбы за власть как стержень политической борьбы, но, как следствие этого, и от какой-либо внятной стратегии, да и вообще от сознательного, организованного политического действия.

Идеи Хардта и Негри, изложенные в книгах «Империя» и «Множество» (*Multitude*)¹⁵⁰, достаточно просты. Во-первых, авторы убеждены, что глобализация, изменившая капиталистический мир, эффективна и необратима. Во-вторых, что экономические отношения становятся все менее зависимыми от политического контроля и что национальное государство приходит в упадок. Собственно, эти два тезиса представляют собой общие места неолиберальной пропаганды. Но главный вклад Хардта и Негри в общественную мысль состоит в заявлении, что на смену национальному государству приходит Империя. Обязательно с большой буквы, и не путать с империализмом. «Империя становится политическим субъектом, эффективно регулирующим эти глобальные обмены, суверенной властью, которая правит миром»¹⁵¹. Собственно, ничего больше об Империи мы уже не узнаем, поскольку авторы тут же заявляют, что речь идет о сетевой власти, вездесущей, неуловимой, но крайне противоречивой. Российский читатель, испорченный чтением газеты «Завтра» и других продуктов национального постмодернизма, может ненароком подумать: не идет ли речь о еврейско-масонском заговоре или о «мировой закулисе»? Нет, теоретики заговора предполагают наличие некой тайной власти. А власть Империи является явной. Просто у авторов нет ни слов, чтобы ее описать, ни конкретных примеров, на которые они могут сослаться.

Невозможность что-либо конкретно сформулировать как раз и является главной новаторской мыслью этой удивительной книги. Все дело в противоречивости самого явления, объясняют нам. Империя еще до конца не сложилась, но она уже переживает глубокий упадок. «Противоречия имперского общества являются неуловимыми, множась и нелокализуемыми: противоречия везде».¹⁵²

Поскольку существование Империи является исходной аксиомой авторов, невозможность ни увидеть, ни описать ее отнюдь не ставит под сомнение исходный тезис. Напротив, чем менее определенно мы представляем себе Империю, тем больше мы должны убеждаться в ее существовании. Но в глубине души авторы сами понимают, что у них концы с концами не сходятся, поэтому они то и дело успокаивают читателя: «Будьте терпеливы. Продолжайте читать. Иногда философским идеям нужно время, чтобы принять окончательную форму. Представьте себе эту книгу в виде мозаики, из которой постепенно складывается общая картина»¹⁵³. Проблема в том, что книги Хардта и Негри представляют собой не столько мозаику, сколько пазл, причем – перемешанный сразу из нескольких коробок (марксизм, постмодернизм, апология неолиберализма, критика неолиберализма и т. д.). Чем тщательнее стараешься сложить вместе части такой мозаики, тем хуже получается.

В рассуждениях Хардта и Негри есть, конечно, своя логика, причем глубоко идеологическая. Приняв за абсолютную истину неолиберальную теорию глобализации, они, однако, не хотят примириться с властью капитала. На этой основе они формулируют собственные выводы и даже свою программу борьбы, которая отвечает новой реальности и новым правилам. Империя есть лишь политическое воплощение новой реальности. Если нет больше

¹⁴⁹ См.: Ibid. P. 244—245.

¹⁵⁰ См.: *Hardt M., Negri A. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*. Penguin Press, 2004. Русский перевод: *Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи*. М.: Культурная революция, 2006.

¹⁵¹ *Хардт М., Негри А. Империя*. М.: Праксис, 2004. С. 10.

¹⁵² Там же. С. 191.

¹⁵³ *Hardt M., Negri A. Multitude*. P. 27.

национального государства, если рынок и капитализм глобален, а национальные и региональные рынки остаются не более чем пережитками прошлого, должна же власть капитала иметь какую-то «политическую надстройку»? Если мы ее не видим, значит, она просто невидима.

Все признаваемые авторами за истину экономические и социальные теории указывают на необходимость существования такой глобальной Империи. Беда лишь в том, что теории, взятые Хардтом и Негри за исходную точку, элементарно неверны. Причем неверны эмпирически.

Сетевая организация общества, о которой столько написано в работах Хардта и Негри, представляет собой некую социологическую фантазию, навеянную избыточным чтением популярной буржуазной прессы. Сети повсюду. Компании создают сети для управления, глобальная Империя представляет собой всепроникающую сеть, куда встроены отдельные государства, включая даже Соединенные Штаты, а сами трудящиеся организуются в «коммуникативные и кооперационные сети» (cooperative and communicative networks)¹⁵⁴. Всякий, кто имеет хоть какой-то опыт реальной жизни, прекрасно понимает, насколько эта картина далека от действительности. Крупные компании остаются вполне иерархическими, вертикальными организациями, использующими сетевые технологии управления как дополнение, но отнюдь не как основу своей структуры.

Межгосударственные объединения, которые можно изобразить в качестве примера «сетевой» организации (атлантический альянс, Европейский Союз), отнюдь не являются порождением последних лет. Подобные организации существовали, по крайней мере, со времен афинского Морского Союза и никому не приходило в голову утверждать, будто Древняя Греция была «сетевым обществом».

Последовательно сетевое общество может сформироваться только за пределами капиталистической системы, а сетевое государство есть противоречие в определении: круглый квадрат, горячий лед. Другое дело, что и правящие классы и их противники постоянно используют сетевые методы организации наряду с иерархическими. Делается это уже на протяжении последних двух с лишним тысяч лет – ведь и ассоциации греческих городов, боровшиеся с персами, и раннехристианские общины можно изобразить в виде своеобразных политических или социальных «сетей». Информационные технологии XXI века создают возможности для более широкого и успешного применения сетевого принципа, но это отнюдь не означает появления какого-то «сетевого общества».

¹⁵⁴ Ibid. P. X V.

Реальный мир и идеология «Империи»

Выступая на Европейском Социальном Форуме, английский исследователь алан Фриман, заметил, что в буржуазной идеологии все вывернуто наизнанку. Принято считать, будто глобализация оказалась экономическим успехом, но политической и культурной неудачей. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Список экономических провалов глобализации можно составлять бесконечно. Достаточно вспомнить русский дефолт 1998 года и череду катастроф в Латинской Америке, нынешнюю слабость мирового хозяйства и неспособность экономики США набрать темпы после депрессии 2000—2003 годов. Но самое существенное то, что мировая торговля, и мировое производство в целом в период глобализации росли медленнее, нежели во времена протекционизма. Будучи цикличным, капитализм проходит периоды интернационализации, сменяющиеся периодами «национально-ориентированного» развития. В этом смысле особенность нынешней эпохи не в том, что происходит что-то столь уж необычное, а в том, что благодаря информационным технологиям мы гораздо лучше видим и осознаем процессы, которые в ходе предыдущих циклов были известны в основном специалистам.

Не подтверждается опытом и тезис об ослаблении государства. Все происходит противоположным образом. Государство не слабеет, а укрепляется. Другое дело, что оно отказывается от своих социальных функций, становясь все более буржуазным, агрессивно-репрессивным и насквозь реакционным. Именно постоянное и возрастающее государственное принуждение (своего рода силовое регулирование общества в интересах рынка) позволяет глобализации продолжаться, несмотря на непрерывную череду экономических провалов и упорное сопротивление большинства людей практически во всех точках планеты.

Транснациональные корпорации, в которых Хардт и Негри видят основную силу, организовывающую новый социально-экономический порядок, на самом деле остро нуждаются в государстве, причем именно государстве национальном. Ведь «глобальность» транснационалов возможна лишь в условиях, пока остается неоднородным мировой рынок труда. Если бы все национальные рынки действительно слились в единый глобальный рынок, деятельность транснационалов потеряла бы всякий смысл. Зачем было бы, например, производить кроссовки для английского рынка во Вьетнаме или Мексике, если бы затраты производства были бы примерно такими же, как в Англии? Подобный глобальный рынок в силу своей однородности неминуемо распался бы на множество однотипных, но локальных рынков, где производство для местного потребителя и из местного сырья было бы несравненно выгоднее, чем перевозка товаров из дальних стран.

Корпорации заинтересованы как раз в том, чтобы продолжали существовать локальные рынки с принципиально разными условиями и правилами игры. А они, благодаря своей мобильности, могли бы эти различия эксплуатировать. Потому-то глобализация и остается принципиально незавершенной — довести дело до конца не в интересах тех, кто возглавляет процесс. Другой вопрос, что вечная незавершенность глобализации на пропагандистском уровне будет постоянно использоваться для оправдания ее провалов.

Легко понять, что в сложившихся условиях национальное государство не только не является пережитком прошлого, но как раз оказывается идеальным инструментом, с помощью которого транснациональные элиты решают свои вопросы. Сетевая Империя как политическая структура корпорациям не нужна, поскольку за последние 15—20 лет национальное государство полностью перенастроено: вместо того чтобы обслуживать своих граждан, оно, выражаясь языком Путина, решает проблемы «конкурентоспособности», иными словами, ублажает транснациональный капитал. Империи Хардта и Негри не видно не потому, что она неуловима, а просто потому, что ее нет.

Разумеется, авторы прекрасно отдают себе отчет в том, что глобальное социально-экономическое пространство, которое они описывают, неоднородно и иерархично. Но они не делают из этого факта никакого вывода, кроме указания на то, что Империя и транснациональные корпорации (так, кстати, кто все-таки?) это пространство организуют. Между тем принципиальная новизна современности состоит не в том, что национальное государство ослабевает, а в том, что корпорации приватизируют его. В этом смысле оказывается повернутым вспять процесс, происходивший на протяжении большей части XX века, когда государство под давлением трудящихся классов постепенно превращалось из органа диктатуры буржуазии в систему институтов, функционирующих на основе компромисса между классами. В социал-демократическую эпоху капитализм предстал перед нами в виде «цивилизованного» регулируемого рынка и «государства всеобщего благоденствия», а успокоенные своими достижениями левые заявили об отказе от лозунга диктатуры пролетариата.

Однако социал-демократический порядок оказался обратим, как и любой компромисс. На фоне «одичания» современного капитализма весьма странно звучат слова Хардта и Негри о том, что новый порядок лучше старого, хотя, разумеется, они имеют в виду не моральную сторону дела и не конкретные проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневном опыте, а некую философскую диалектику в духе Гегеля. Эта диалектика условна, абстрактна и именно потому неприменима в жизни. Если бы дело обстояло иначе, ни Маркс, ни Вебер, ни Фрейд человеческой мысли не понадобились бы.

Критический взгляд на современную ситуацию заставляет ставить совершенно иные вопросы, нежели те, которыми занимаются наши герои. Во-первых, если современный порядок вещей является на практике проявлением реакции, а социал-демократический компромисс ушел в прошлое, логично предположить, что так же обратим окажется и пришедший ему на смену неолиберальный капитализм вместе с идеологией глобализации. Иное дело, что из этого отнюдь не следует, будто нас ждет возврат к социал-демократии. В свете имеющегося исторического опыта он не является ни необходимым, ни желательным.

Другой вопрос состоит в моральной стороне происходящего. Для того чтобы изменить положение дел, риторических ссылок на необходимость «сопротивления» недостаточно. Массы сопротивлялись капиталу с момента зарождения буржуазного порядка. По большей части сопротивлялись неэффективно, хотя на протяжении последних двух веков мы видели и примеры успешной классовой борьбы, причем каждый раз речь шла не о сопротивлении, а о реализации более или менее внятных революционных или реформистских проектов. Успех этих проектов (будь то левый якобинизм, большевизм, тред-юнионизм или кейнсианство) был ограниченным и, как уже было сказано, обратимым. Революционный порыв не раз оборачивался катастрофой тоталитаризма. Но, тем не менее, нельзя отрицать значение этих попыток.

В мире Хардта и Негри, напротив, нет ни необходимости, ни возможности вырабатывать какие-либо программы. Неуловимая и зыбкая реальность новой глобальной Империи делают такие попытки бессмысленными. Здесь есть только движение, которое каким-то мистическим образом (в духе Гегеля) само собой приведет к заранее заданной цели. Цель эта, как и на плакатах советского времени, – коммунизм. И он так же абстрактен и недостижим, как и идеальное будущее советской пропаганды.

Как мы уже заметили, Империя Хардта и Негри, по существу, бессубъектна. Точнее, в ней субъект есть, но он так же неуловим, подвижен и абстрактен, как и все остальные понятия этой книги. В этой зыбкости, бессубъектности Хардт и Негри видят проявление новизны современной эпохи. Однако парадоксальным образом, когда они начинают говорить о прошлом, оно тоже становится размытым и бессубъектным. Стоит им обратиться к истории, например, европейского ренессанса и Просвещения, как перед нами всплывают такие же неясные очертания самодвижущегося процесса, в котором действуют совершенно

гегельянские общие идеи – революционное и контрреволюционное начало, стремление к свободе и потребность в контроле, причем совершенно неважно, чье это стремление и чья потребность. Время от времени на страницах книги появляются какие-то не менее абстрактные «массы», про которые мы знаем не больше, чем про абсолютные идеи старинной философии. Для Маркса массы представляли собой форму существования и организации совершенно конкретных социальных групп и классов, имевших определенные интересы и на этой основе формирующиеся потребности. Пролетариат становится массой в силу того, что этого требует логика фабричного производства, накопления капитала и урбанизации, собирающая людей вместе и превращающая их в «массу». Эта же логика еще раньше вовлекает в свой оборот и мелкую буржуазию. Однако все эти социальные группы сохраняют свое лицо. Социология – Маркса ли, вебера ли – интересуется именно собственным обликом класса, его специфическими особенностями, из которых и произрастает потребность в политическом действии, необходимость борьбы и стремление к освобождению. Социология Хардта и Негри, если применительно к ним вообще можно говорить о социологии, напротив, предполагает полную обезличенность.

Единственное, что мы точно узнаем про массы, прочитав «Империю», – это то, что они бедны. В этом главная особенность текущего момента. Рабочего класса больше нет. Бедность, говорят нам авторы, стала отношением производства. Мы узнаем, что теперь бедность «проявляется во всей своей открытости, поскольку в эпоху постсовременности подчиненные поглотили эксплуатируемых. Иными словами, бедняки, каждый бедный человек, массы бедных людей поглотили и переварили массы пролетариев. Самим этим фактом бедняки стали производительной силой. Даже продающие свое тело, нищие, голодающие – все виды бедняков – стали производительной силой. И поэтому бедняки обрели еще большую значимость: жизнь бедняков обогащает планету и облакает ее стремлением к творчеству и свободе. Бедняки являются условием любого производства».¹⁵⁵

¹⁵⁵ Хардт М., Негри А. Империя. С. 154.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.